

ДНЕВНИК ПОДРОСТКА

ПРЕДИСЛОВИЕ
Профессора Ленинско-
Медицинской Академии
В. П. ОСИПОВА

Перевод с английского
под редакцией
д-ра В. И. БИННТОКА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

Ленинград

1925

TAGEBUCH EINES
HALBWÜCHSIGEN
MÄDCHENS

Обложка работы
Серафимы Куприловой

Ленинградский Гублит № 4125/9. Тираж 6000 экз.
Тип. Торговой Палаты. Ленинград. Полтавская 12.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Появляющийся в русском переводе «Дневник подростка», выдержавший на немецком языке три издания в самый короткий срок, требует серьезного и вдумчивого отношения. Дневник, в который автором заносятся регулярно его сокровенные переживания на протяжении трех с половиной лет, в возрасте от одиннадцати до четырнадцати с половиной лет, является ценным документом для изучения человеческой личности в самом интересном периоде ее жизни, в периоде развития и созревания организма, в периоде формирования, превращения девочки в девушку. Правда, девочка-подросток принадлежит к резко выраженной, буржуазной среде, со всеми ее отрицательными свойствами, представляя ее типичное произведение; но это придает книге сатирический характер и заставит сильно задуматься тех, кто еще вздыхает об этой среде тем более, что и за границей, как видно из предисловия издательницы дневника, эта среда сильно изменилась за последнее время.

Дети жадно впитывают впечатления окружающей среды; это всецело относится и к автору дневника, кругозор

которого представляется очень узким, не выходящим из рамок своей среды, не включающим в себе никаких широких социальных вопросов, разве что в зачаточном виде; с возрастом он мало расширяется, так как впечатления черпаются из одной и той же среды. Основным стержнем дневника является половой вопрос, разрешаемый девочкой - подростком, равно как и ее подругами, самостоятельно и в высшей степени уродливо: на основании случайных впечатлений, большей частью совершенно неожиданных и грубых, на основании «просвещения» столь же невежественными подругами, отчасти сверстниками мужского пола; отсюда душевная драма, отвращение, излишнее любопытство, и отсюда же центральный интерес к этому вопросу; все эти вопросы, к тому же, разрешаются потихоньку от родителей и педагогов, которые, сами находясь под гнетом ложных предрассудков и лицемерной буржуазной морали, вместо разумных разъяснений, всячески затушевывают все относящееся к этой области и естественно интересующее детей; эти близорукие люди, снисходительно относясь к уродливому саморазрешению неизбежных вопросов, связанных с развитием господствующего инстинкта, боятся правильного освещения вопроса, предпочитая предоставлять детям выкарабкиваться из него своими силами, хотя бы и с большим для них ущербом.

Подросток по своему развитию — девочка веселая, средняя, но ведь таких очень много, дневник ее однообразен, но такова и ее среда. Не будучи подготовленной к настоящей жизни, но лишь к пустой и светской, она погибает при первом столкновении с суровой действительностью, чего и следовало ожидать.

Дневник хорошо реализует теорию Фрейда, до его Oedipuscomplex'a включительно.

Книгу с интересом должны прочесть педологи, педагоги, врачи, социальные работники вообще и родители; многих она должна навести на разнообразные мысли, заставить осмотреться вокруг и глубже вдуматься в вопросы полового воспитания, которые и у нас занимают видное место, — заставить подумать над тем, как не следует воспитывать детей; с этой точки зрения содержание книги может быть полезно и в смысле пропаганды.

Профессор В. Осипов

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ

На следующих страницах предаются гласности записки едва сложившейся девушки из крупной буржуазной семьи. Я не могу найти для них лучшего вступления, чем слова профессора Фрейда в его письме ко мне от 27 апреля 1915 года, в котором он определил их ценность, как культурного памятника нашего времени.

«Дневник — маленькая жемчужина. В самом деле, я думаю, что еще никогда не удавалось заглянуть с такою ясностью и правдивостью в душевные переживания, которые характеризуют развитие девушки нашего общественного и культурного уровня в годы, предшествующие наступлению зрелости. Здесь вырисовывается, как детски-эгоистические чувства с годами достигают социальной зрелости; как складываются отношения к родителям, братьям, сестрам, постепенно приобретающая серьезность и искренность; как завязываются и прекращаются дружеские отношения, как зарождающаяся нежность ищет себе исхода и как, сначала смутно, встает

тайна половой жизни, чтобы потом деликом овладеть детской душой; как ребенок страдает от знания этих тайн и как он постепенно все это преодолевает. В этих безыскусственных записках все выражено так прелестно, естественно и все же так серьезно, что должно вызвать величайший интерес среди педагогов и психологов.

«...Я думаю, Вы обязаны предать гласности этот дневник. Мои читатели будут Вам за это благодарны...»

При издании этих страниц ничто не было приукрашено, ничего не прибавлено или опущено. Изменения ограничиваются только стремлением сделать неузнаваемыми действующих лиц, для чего взяты вымышленные названия мест, фамилий и имен, устранено все, что могло бы навести посвященных на след писавшей. Тем самым я исполняю желание собственницы дневника, предоставившей мне эти записки для свободного использования в целях науки. Сохранены также неровности стиля и погрешности против правописания, потому что их надо рассматривать не с точки зрения детской беспомощности и неумения владеть пером, а как проявления эмоциональных течений и как подлинные промахи, коренящиеся в области подсознательного.

Вена, осень 1919 г.

Д-р Эрихна Гуг-Хельмут

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ

«Дневник едва сложившейся девушки» вызвал всеместно настолько сильный научный и просто человеческий интерес, что вполне понятно желание читателя услышать что-нибудь о том впечатлении, которое писавшая его производила при личном соприкосновении, об ее наклонностях, характере и, наконец, об ее дальнейшей судьбе. Конечно, страницы дневника освещают все эти вопросы, за исключением последнего, лучше, чем это мог бы сделать чей-либо рассказ. Но так как казалось, что все эти пункты недостаточно выяснены, то являлось желание узнать, по крайней мере, имя издательницы. Поскольку в основе этого желания лежало стремление хоть этим путем получить известную гарантию в подлинности записок — оно понятно и может быть оправдано, тем более, что кое-где в этом направлении возникали сомнения, которые, казалось, находили себе оправдание в отсутствии имени издательницы.

Уважительные причины личного характера препятствовали мне до сих пор выступить со своим именем в подтверждение подлинности дневника, но за последнюю ручалось более крупное имя профессора Фрейда.

В период времени после отпечатания второго издания личные основания отпали, и я с чувством освобождения нахожу, что не должна дольше замалчивать свое имя, как издательница. И тем самым я получаю возможность удовлетворить стремлению многих узнать о составительнице дневника что-нибудь, что не содержится в записках. Для научного интереса те объяснения, которые я могу предложить, не нарушая обещания хранить тайну, будут достаточны, а праздное любопытство, конечно, останется не удовлетворенным.

Девушка никогда не находилась под психоаналитическим наблюдением. Я с нею познакомилась, когда ей было девятнадцать лет и когда она, проживая в Венском пансионе, готовилась сдавать на гимназический аттестат зрелости. Услышав от общих знакомых, что и я сдавала экзамен после частных занятий, она обратилась ко мне за советом по поводу способов и продолжительности подготовки. В заключение, она просила подготовить ее, по крайней мере, по некоторым предметам (немецкому, математике, физике и психологии). В течение года совместной работы я узнала в ней человека, достойного любви за свой честный характер. Со своей привлекательной внешностью, бодрым мировоззрением и приветливым обхождением, она представляла очень симпатичное явление. Ее духовная одаренность отнюдь не превышала среднего уровня, иногда даже она производила на меня такое впечатление, как будто бы она отстала в своем интеллектуальном развитии. Некоторое непостоянство, нетерпеливость, наряду с честолюбивым стремлением не отстать от других, определяли ее сущность. Сильнее, чем это честолюбие, было отвращение к продолжительному умственному напряжению и потому она отказалась от своего намерения сдать на аттестат зрелости.

Только работы по психологии приковали к себе ее интерес и воскресили разнообразные воспоминания из ее детства. Но я не могла составить себе ясного представления об ее семейной жизни по случайным рассказам об ее отношениях к сестре, брату, друзьям и школе. Я тогда не знала, что эти отрывочные сообщения потом представят для меня ценность.

Мы поддерживали дружеские, но поверхностные отношения. Спустя два года, она одновременно с известием о своей помолвке принесла мне пачку листков из дневника, которые она, в поворотный момент своей жизни, сначала хотела уничтожить, как не имеющее ценности ребячество. — Потом уже, вспомнив, что я интересуюсь душевной жизнью детей, она решила передать их мне для возможного использования. Это была довольно объемистая пачка записок различного формата, смятых, частью стертых, часто неразборчивых, надарапанных беглым детским почерком. Так как находящаяся под моим наблюдением молодежь нередко предоставляла в мое распоряжение сердечные излияния в прозе и в стихах, которые обычно, по своей искусственности и рассчитанности на эффект, оказывались малоценными, то я принялась за чтение несколько скептически. Но чем больше я углублялась в чтение, тем ценнее мне казались эти, по почерку, содержанию и стилю несомненно не подделанные записки подрастающей девушки. В этом смысле я ей и написала. Относящиеся сюда места из ее ответа я внесла в предисловие к первому и второму изданиям дневника.

Девушка не достигла желанной цели. При объявлении войны, молодая невеста, которая надеялась провести рождество 1914 года вместе с любимым человеком в родном доме, пошла в качестве сестры милосердия на Сербский

театр войны. Душою и телом она не доросла до требований, предъявляемых служением ближнему; она пала под натиском пережитого на своем новом поприще.

Известие об ее преждевременной смерти дошло до меня спустя больше года и притом окольными путями, так как из ее родных я никого не знаю.

Наконец, несколько слов к критике дневника. Некоторые исследователи оценивают его во всем его объеме, как культурный памятник нашего времени. — Наряду с этой, в громадном большинстве случаев разумной критикой, как уже было отмечено, возникают сомнения в подлинности дневника. Тот или иной критик старается доказать с большим или меньшим остроумием, что здесь дело идет о хорошо удавшейся мистификации, о воспроизведении переживаний ребенка рукою взрослого человека. Cyril Burt, злейший критик дневника, в *British Journal of Psychology* (Август 1921 г.) подвергает сомнению выдержку из дневника, как совсем необыкновенную для ребенка одиннадцати — четырнадцати с половиной лет; он высчитывает, что, в среднем, на час писания приходится четыреста слов — «хорошая производительность для ребенка» — и находит в высшей степени неправдоподобным непрерывное ведение записей при той скрытности, которую нужно было соблюдать в отношении любопытной, инквизиторски настроенной сестры и боязливой матери. Он подчеркивает, в особенности, подозрительность «логического построения записей и возражений против взглядов родителей», дневник ему кажется «замечательно связным», а «почти драматическое» введение действующих лиц, которое делает излишним всякие объяснения, искусственным. За этими возражениями критик проглядывает типичное положение ребенка в окружающем мире: из зависти к старшей сестре, одиннадцатилетняя девочка не устает ей

подражать, и, вероятно, то, что раньше нередко воспринималось, как тягостное принуждение, постепенно становится привычной потребностью. Для каждого, кто в молодые годы писал дневники или вообще знаком с дневниками молодежи, нет ничего удивительного в том, что дети, при ведении дневника, обычно изображают различных лиц и их взаимные отношения с почти педантичной основательностью. Каждый образ, который захватывает мир чувствований ребенка, представляется ему настолько значительным, что он совершенно просто начинает вскрывать его отношение к нему самому и другим — черта, которая кажется нам утомительной в изложении взрослых людей с ограниченным интеллектом. У меня не осталось такого впечатления, будто Рита писала свой дневник для подруги. Дети только обменялись обещанием позволять друг другу читать его, и Гелла предоставляет подруге свой дневник во время ее выздоровления. Критик, которого смущает непрерывность записей, мог бы легко проследить, что все «я» ребенка зависит от таких переживаний, как приготовления к праздникам, переезды на дачу и возвращение в город, страх перед отметками, болезнь и смерть любимой матери, которые и обуславливают перерывы в записках на целые дни и недели *).

И если ему кажутся неправдоподобными размеры дневника, то на это можно лишь ответить, что среди детей, как и среди взрослых, есть охотники до писания.

*) Следует выделить только перерывы в один месяц в первом году, от 12 января до 12 февраля, недели, в которые школьные занятия не давали возможности вести дневник, в третьем году — от 26 марта до 16 мая, время, на которое пали болезнь и смерть любимой матери, в четвертом году — от 6 ноября до 3 декабря; один трехнедельный перерыв в первом году — от 20 февраля до 2 марта, в третьем году — от 9 до 22 марта, — от 8 до 14 сентября, в четвертом году от 6 до 15, — от 18 до 24 января.

Тайна и поспешность сделали мало разборчивыми только даты—труд, который я охотно взяла на себя.

Замечание критики о том, что стиль дневника сравнительно мало изменился за три с половиной года, я нахожу несущественным.

Это безыскусственные записи, наброски, вылившиеся под непосредственным влиянием чувства, как этого и можно ожидать от девочки переходного возраста между одиннадцатью и четырнадцатью с половиной годами.

Наконец, юной Рите часто делали упрек за удивительное отсутствие широких интересов. Но ведь она пережила свою юную жизнь в эпоху, не задетую большими событиями, огражденная семейным кругом. Поэтому, нет ничего удивительного, что все у нее сводится к семье и тесному дружескому кружку. В этом она только типичный образец девушки из круга венской чиновничьей знати, так же, как ее подруга Гелла представляет собою типичную офицерскую барышню довоенного времени.

Нет, в дневнике нет ничего поддельного! И ничто не изменено, кроме названий лиц и местностей и должности отца составительницы дневника (он занимал высокий пост, но не служил по ведомству юстиции). Это настоящие венские дети, каких много было до 1914 года, привлекательные и милые в своем ограниченном кругу, от которого их не отвлекала потребность в больших переживаниях. Даже половая тайна для них скорее задача интеллекта, а не выражение чувственности, потому что это так тесно связано с образами отца и матери, и к ней их привлекает не столько запретность, сколько загадочность.

Часто также выражали сожаление, что я, вопреки данному мною девочке обещанию уничтожить оригинал

дневника, не оставила по несколько листов от каждого года, чтобы на развитии почерка убедиться в подлинности документа. Но я думаю, что неисправимый скептик не успокоился бы даже на подобном факсимиле. Для него сомнение есть потребность, и потому он не даст себя убедить подобными доказательствами.

Вена, май 1922 года.

Д-р Эрминия Гуг-Хельмут

ПЕРВЫЙ ГОД

(От 11 до 12 лет)

12 июля 19... Гелла и я пишем дневник.

Мы решили, если нас примут в лицей, вести дневник ежедневно. Дора тоже пишет дневник, но при этом страшно боится, чтоб я его не увидела. Я называю Елену «Геллой», она зовет меня «Ритой»; «Елена» и «Маргарита» страшно обыкновенно. Дора с недавнего времени называет себя «Траа»; но я говорю, как всегда, «Дора». Она утверждает, что для таких маленьких детей (маленькими она считает меня и Геллу) дневник дело не подходящее. «И что за вздор будет в нем написан». Уж не больше, чем в ее дневнике, или в Лиззином.

13 июля. По-настоящему, мы должны были начать в первый раз писать дневник после каникул, но так как мы обе уезжаем, то хотим начать теперь же. Таким образом мы будем знать, что пережили на каникулах.

Итак, позавчера мы держали экзамен. Это было очень легко; в диктанте я сделала только одну ошибку в букве h. Фрейлейн сказала, что это ничего, что я только перепутала. И это верно, потому что я сама отлично знаю, что «ohne» пишется с h. Мы обе были одеты в белые платья.

с розовыми петельками, и все думали, что мы сестры или по крайней мере кузины. Я ничего не имею против такой кузины, но подруга еще лучше, подруге можно все сказать.

14 июля. Наша фрейлейн была очень милая. Из-за нее мне и Гелле даже жалко, что мы не ходим в городскую школу. Потому что тогда мы могли бы каждый день перед школой спускаться к ней в класс, но из-за других детей мы этому рады. Лучше же ходить в лицей, чем только всего в городскую школу. И потому дети ужасно злятся, они лопаются от зависти (это говорит моя сестра обо мне и Гелле, но это неправда).

— Наши две студентки, — сказала фрейлейн, когда мы с нею прощались.

Мы ей непременно должны писать с дачи, и я это сделаю.

15 июля. Лиззи, сестра Геллы, никогда не бывает такой низкой, как Дора, она всегда такая милая. Сегодня она подарила нам, каждой, не меньше, чем по десяти пралинэ. Правда, Гелла часто говорит мне:

— Ну, ты не знаешь, какою она может быть. Ко мне твоя сестра обыкновенно тоже очень мила.

Конечно, это очень мило, если она постоянно называет нас маленькими или детьми, точно она сама никогда не была ребенком. И даже гораздо меньше, чем мы теперь. Одним словом, мы теперь то же самое, что и она. Она переходит в четвертый класс, а мы в первый.

Завтра мы едем в Тироль, в Кальтенбах. Я страшно рада. Гелла сегодня поехала в Венгрию, к своим дяде и тете, с мамой и Лиззи. А ее папа на маневрах.

19 июля. На каникулах очень трудно писать каждый день. Все так ново и нет покоя, чтобы писать. Мы живем в великолепной вилле в лесу. Но место перед домом

сейчас захватила себе Дора, чтобы писать. Так ужасно много совсем маленьких мух, там все черно от мух; мух и вообще подобных зверей я боюсь. Из-за переднего места я ни за что не соглашусь на подобное стеснение. Так не делают. Этого не будет. Это сказал и папа:

— Дети, не спорьте.—(И она—«дети»).

Это справедливо, потому что она слишком много о себе воображает, так как ей в октябре минет четырнадцать лет.

— Места принадлежат всем и каждому, — сказал папа.

Это правда, папа всегда справедлив. Никогда он не оправдывает Дору, а мама так часто поддерживает Дору. Сегодня я пишу Гелле. Впрочем, она мне еще тоже не писала.

21 июля. Гелла написала мне четыре страницы, и так мило. Ну что, если б у меня ее не было. Может быть в августе она приедет ко мне или я к ней. Это, пожалуй, было бы еще лучше. Я люблю гостить по-долгу. Папа сказал:

— Ну, это мы еще посмотрим!

Значит, он наверное позволит. Когда родители говорят: «мы еще посмотрим», это значит всегда «да». Но они не хотят сказать этого прямо, чтобы, если это все-таки не удастся, дети не могли бы упрекнуть их в том, что они не держат своего слова. Папа вообще все бы позволил, но мама... Ну, если я буду чаще упражняться на рояле, она может быть все таки позволит. Я должна идти гулять.

22 июля. «Я должна себя заставить,—написала Гелла,—писать каждый день. Потому что клятву нужно исполнять, а мы поклялись писать каждый день. Я...»

23 июля. Это безобразие. Нет никакого покоя. Вчера, когда я хотела писать, начали прибираться, а в беседке была Д..., при которой я абсолютно не пишу. А на открытом

месте спереди у меня листочки улетели. Дело в том, что мы пишем на листочках. Гелла думает, что это лучше, потому что ничего не надо вырывать, но мы поклялись друг другу, что мы ничего не будем выбрасывать и рвать. Да и зачем? Подруге все можно сказать. Хороша была бы дружба! Не успела я вчера войти в беседку, как Дора нагло посмотрела на меня и спросила:

— Тебе чего?

Точно беседка принадлежит ей одной, совсем как вначале с местом перед домом. Это, право же, наглость.

Вчера после обеда мы были на Коблер-Когель. Было чудно, потому что папа был очень веселый и мы бросались шишками еловыми. Это было весело. Доре я бросила шишку в ее выпяченные... Она ужасно закричала. А я совсем громко сказала: — Ты этого совсем не чувствуешь.

Проходя мимо, она сказала:

— Дура.

Но это ничего не значит. По крайней мере, я знаю, что она это поняла и что это правда. Я бы хотела знать, что это она пишет каждый день Эрике, и что собственно она пишет в своем дневнике. Маме было нехорошо, и она осталась дома.

24 июля. Сегодня воскресенье. Я особенно люблю воскресенье. Правда, папа говорит:

— Дети, у вас каждый день воскресенье.

На каникулах—это правда, но так у нас вовсе не каждый день воскресенье. Крестьяне все в своих костюмах. И крестьянки и дети тоже. Совсем, как в театре. Мы сегодня в белых платьях, и я себе посадила большое вишневое пятно. Только нечаянно, потому что я села на гнилую вишню. Теперь мне придется после обеда на прогулку надеть розовое платье.

Я и рада, потому что не люблю быть в одинаковых платьях с Дорой. Вовсе не нужно всем знать, что мы сестры, а так можно подумать, что мы только кузины. Она этого тоже терпеть не может. Почему, хотела бы я знать? Через неделю придет Освальд. Я теперь уже страшно радуюсь. Он еще старше Доры. Но с ним у меня всегда все хорошо. Гелла написала мне, что скучает без меня, я тоже.

25 июля. Сегодня я написала фрейлейн Прюккель. Она в Ашензе. Мне бы очень хотелось с нею повидаться. После обеда мы каждый день ходим купаться и гулять. Но сегодня целый день идет дождь. Это противно. Я забыла мо-
краски, а читать целый день мне нельзя. Мама говорит:

— Если ты теперь все проглотишь, тебе ничего не останется.

Это правда. Но даже нельзя пойти покачаться.

После обеда. Об этом я должна написать особо. У меня был ужасный спор с Дорой. Она утверждает, что я копаюсь в ее вещах. Потому что у нее нет порядка. Я бы хотела знать, чем ее вещи могут меня интересовать. Свое письмо к Эрике она сама оставила вчера на столе, и я в нем не прочла ничего, кроме: «Он божественно красив». Кто? этого-то я и не знаю. Но в это время она уже вошла. Вероятно, Краиль Руди, ее партнер в теннис. Она выкидывает с ним ужасные истории, но «красив» — это уж дело вкуса.

26 июля. Вышло совсем хорошо, что я взяла кукольный сундучок. Правда, мама сказала:

— Возьми его только для дождливой погоды.

Конечно, я уже давно не играю в куклы, но в конце концов шить кукольные платья можно и в одиннадцать лет. Так чему-нибудь и выучишься. И когда что-нибудь готово, то это доставляет мне безумную радость. Мама кроит

мне, и мне совсем легко сшивать вещи. Вдруг входит в комнату Дора и говорит:

— Ах, маленькая шьет кукольные вещи.

Какая дерзость! Точно она никогда не играла в куклы. И кроме того об игре в куклы у меня нет даже речи. Когда она села около меня, я так сильно дернула иголку, что сделала ей громадную царапину на руке, и сказала:

— О, извини! Ты, к сожалению, слишком близко подошла ко мне.

Я надеюсь, что смысл она поняла. Конечно, она на-лбедничает маме. Пускай. Пусть не называет меня маленькой. А все-таки у нее красная царапина. Да еще на правой руке, где всякий видит.

27 июля. Здесь очень много овощей и ягод. Целый день я сижу у крыжовника и малины. И мама говорит, что я потому ничего не ем за обедом. Так ведь доктор Клейн всегда говорит, что овощи очень полезны. Почему же нельзя съесть много сразу? Гелла тоже всегда говорит, что за все, что только любишь, так долго бранят, пока это тебе не опротивеет. И Гелла тоже часто страшно сердится на свою маму, а ее мама говорит:

— Вот, жертвуешь собою детям, а они платят за это неблагодарностью.

Вот тоже жертва! Я бы хотела знать, в чем. Сначала дети должны собою пожертвовать, потому что, если я люблю есть крыжовник и не смею этого делать, то это—жертва с моей стороны, а не с маминой. Я это и Гелле написала. Фрейлейн Прюккель написала мне. Боже мой, как чудно. Адрес: «Фрейлейн Грете Лайнер, ученице лицей». Дора, конечно, и здесь лучше знает и говорит, что в старших классах, начиная с четвертого (потому что сама она переходит в четвертый), пишут: «лицейстке».

— А на каникулах, до первого класса, вообще нельзя считаться ученицей лицея.

Тогда папа подошел и сказал, чтобы (я не начинала) мы прекратили эти постоянные препирательства. Он не хочет больше этого слышать. Он совершенно прав. Но, к сожалению, это ни к чему не приведет, потому что Дора все равно не перестанет. Прюккель написала мне, как она обрадовалась, что я ей написала. Боже мой! Для нее у меня всегда есть время. Я ей еще напишу сегодня после ужина, чтобы она не ждала понапрасну.

29 июля. Вчера у меня не было возможности писать.

Пришли Варт, и я весь день была при Эрне и Лизель, весь день шел дождь. Мы великолепно вели себя. У них много игр, и мы играли в «сахарки». Я выиграла сорок семь, пять я тогда же отдала Доре. Роберт уже больше чем на голову выше нас, то-есть Лизель и меня; я думаю, ему пятнадцать. Он называет меня фрейлейн Грета и принес мне тальмочку, которую мама прислала мне из-за дождя, а после ужина проводил меня до калитки.

Завтра день моего рождения; все приглашены и мама делает земляничное мороженное и вафли. Это прелесть.

30 июля. Сегодня день моего рождения; я получила чудный зонтик, с тканой вышивкой, и принадлежности для рисования от папы; от мамы громадный альбом для открыток, на 800 штук, и рассказы для подростков и тех, кто скоро будет ими; от Доры изящную почтовую бумагу; а мама сделала торт с шоколадным кремом на после-обеда, кроме земляничного крема. От Варт я рано утром получила три поздравительных карточки, и Роберт написал на своей «с искренним почтением преданный вам Р.». День рождения—прекрасная вещь; все так мило, даже Дора; от Освальда я получила деревянный разрезной ножик: ручка

изображает дракона, который вместо огня изрыгает клинок, или клинок может быть тоже его языком. Это хорошо не видно. В день моего рождения еще никогда не бывало дождя. Папа говорит, что я счастливица. О, это мне кстати, это может мне очень понадобиться.

31 июля. Вчера это было божественно. Мы катались со смеха, играя в «секретарей». Я постоянно попадалась вместе с Робертом и что мы только ни делали, то-есть не взаправду, а на бумаге, целовались, обнимались, заблудились в лесу, вместе купались. Ну, положим, что этого бы я уж не сделала. Ссорились друг с другом. Нет, этого не случится. Это совсем невозможно. И потом мы пили за мое здоровье пятью хлопками, а Роберт непременно хотел принести вина, но Дора сказала, что это было бы в высшей степени бестактно. Но, на самом деле, это было совсем другое, она всегда очень сердится, если только я делаюсь первым лицом, а вчера я им была безусловно.

Сейчас поскорее о сегодняшнем дне. Было чудно. Мы были с Варт в Глубоком Овраге, где растет ужасно много земляники. Самые хорошие ягоды Роберт собирал для меня. К великой досаде Доры, которая должна была сама себе искать. Впрочем, я тоже люблю сама собирать. Но если кто-нибудь из любви (так прямо и сказал Роберт) собирает для другого, то с удовольствием отказываешься от самостоятельного искания. Впрочем, я и сама тоже искала и свои отдавала папе, а некоторые тоже и маме. Во время завтрака в Флишберге я сидела, к сожалению, рядом с Эрной, а не с Робертом. Эрна, в сущности, самая вялая. Мама говорит, что у нее бледная немочь. Это страшно интересно. Но говоря по правде, я наверное не знаю, что это такое. Дора тоже утверждает всегда, что она мало-

кровна, но это, конечно, неправда. И папа всегда говорит:

— Не наговаривай на себя глупостей. Ты здоровая пышка.

Это ее ужасно сердит. У Лиззи в прошлом году было действительно малокровие. Тогда это доктор сказал. У нее все время делались сердцебиения и она должна была принимать железо и пить красное вино. Мне кажется, что милейшая Дора подражает ей.

1 августа. Гелла немножко обиделась, потому что я ей написала, что провожу весь день у В. Так ведь она же моя единственная подруга. А то бы я ей этого не написала. Ведь у нее тоже на даче каждый год новая подруга. Я же на это не обижаюсь. Почему ей в конце концов не нравится Роберт, я не знаю. Она его совсем не знает, если не считать того, что я о нем писала. А это уже наверное было только хорошее. Она считает, что знает его, потому что он родственник Серингов и потому, что она его там один раз встретила, но с одного раза узнать человека нельзя. И во всяком случае она его знает не так, как я. Вчера я весь день была у В. Мы играли в «место королю». Роберт меня оттолкнул, и я должна была заплатить ему штраф. И тогда Эрна сказала, что это не считается, потому что я нарочно поддалась. Тогда Роберт ужасно рассвирепел и сказал:

— Эрна—противная клецка, она всем портит удовольствие.

Он совсем прав. Впрочем, и некоторые другие также. Надеюсь, что Эрна ничего не сказала Доре о штрафе, потому что тогда это будет всем известно. А это вовсе не требуется. Я угощала Эрну конфетами, которые нам прислала тетя Дора, остальные съели я, Роберт и Лизель. Они были очень вкусные и почти все большие. Роберт

сначала хотел взять маленькую, но я ему сказала, что он должен взять большую, и после этого он себе выискивал только большие. Когда я вечером пришла домой с пустой коробкой, папа засмеялся и сказал:

— Наша Грета не скупердяйка.

Ну, да у мамы есть еще целая коробка. Много ли есть у Доры, я понятия не имею, но вероятно.

2 августа. Сегодня после обеда в пять часов пришел Освальд. Он ужасно важничает. У него уже скоро будут усы. Вечером он с папой поехал в гостиницу представляться мужчинам. Он говорит, что ему это страшно, но он наверное всем очень понравится, особенно в своем новом дорожном костюме и настоящих кожаных штанах. Бабушка и дедушка кланяются всем, но я их совсем не знаю. Это они послали нам целую кучу пирожных, и Освальд страшно бранился, что ему пришлось их тащить. Освальд курит очень много папирос и папа ему сказал:

— Пойдем, старина, в гостиницу, вспрыснем твое свидетельство.

Это мне кажется смешным. У Доры и у меня ничего не вспрыскивают. Самое большее, что нам что-нибудь подарят. У Освальда все двойки и тройки и очень мало пятерок, а по-гречески даже «удовлетворительно», а у меня все пятерки. Он сказал папе что-то по-латыни, и папа очень смеялся и тоже что-то сказал, чего я не поняла. Я думаю, что это было не по-латыни, а скорее по-венгерски или по-английски. Папа знает почти все языки, даже богемский, но на нем он, слава богу, не говорит, разве только, когда хочет нас посердить. Как тогда на вокзале, когда я и Дора так стеснялись. Богемский язык безобразен, это мама говорит. Когда Роберт передразнивает по-богемски, можно кататься со смеха.

3 августа. На днях я слишком долго купалась и простудилась, теперь я несколько дней не должна купаться. Потому Роберт сидит у меня совсем один и рассказывает мне разные разности и потом он меня так сильно качает, что я страшно кричу. Сегодня он меня, собственно говоря, обидел. Он говорит, что Освальд размазня. Я сказала, что это неправда, мальчики всегда друг друга терпеть не могут. А что он в разговоре заплетается, вовсе неправда. Вообще я Освальда люблю гораздо больше, чем Дору, которая всегда проносит «дети», когда говорит обо мне, Гелле и даже Роберте. Тогда он сказал:

— Дора такой же гусь, как и Эрн.

В этом он совершенно прав. Роберт сказал, что никогда не будет курить. Это страшно вульгарно. Правда, ведь изысканные люди не курят. Пожалуйста, а мой папа? И он еще говорит, что никогда не будет носить бороды, а будет каждый день бриться, и его жена должна будет ему все готовить. Ну, а папе очень идет борода. Я его совсем не могу себе представить без бороды. Во всяком случае, я не выйду замуж за мужчину, у которого нет бороды.

5 августа. Мы каждый день ходим на теннис. Когда мы вчера шли,—Роберт, я и Лизель, Эрн и Рене,—Дора закричала нам вслед:

— Брачная пара in spe.

Это она переняла у Освальда, и это, кажется, значит—через сто лет. Ну, так долго, может быть, будет ждать она, но не мы. Мама за это ее порядком выбранила и сказала, что она не должна говорить таких глупостей. И это правда. In spe, in spe. Мы ее теперь так и называем «Инспе». Тогда никто не знает, о ком мы говорим.

6 августа. Гелла не может сюда приехать, потому что она едет со своей мамой в Лаузенберг к своему другому

дяде, который там окружным судьей, или как там, в Венгрии, называется. Каждого окружного судью я себе представляю, как окружного судью Т., которого мы знаем, таким же противным. Нос... и при этом такая хорошенькая жена. Но ее насильно выдали замуж ее родители. Подобную вещь меня бы уже не заставили сделать. Лучше я совсем замуж не выйду. И она очень несчастна.

7 августа. У нас ужасный скандал из-за Доры. Освальд сказал папе, что она на теннисе страшно кокетничает. А он этого не выносит. Папа безумно бранился, и мы не смеем теперь ходить на теннис. А ее больше всего рассердило, что папа сказал при мне:

— Такая дурочка, четырнадцати лет, позволяет уже ухаживать за собою..

У нее красные распухшие глаза, а вечером она ничего не делала из-за головной боли. Ну, известно, что это за головная боль. Но каким образом случилось, что и я не смею идти,—этого я не понимаю.

8 августа. Освальд говорит, что студент вел себя вполне прилично, а что вина лежит только на Доре. Ну, уж я это хорошо знаю; как тогда на южной дороге. Итак, я не смею ходить играть в теннис, хотя я просила маму переговорить обо мне с папой. Но она говорит, что это ни к чему не приведет, что папа очень сердится, и я не могу больше проводить целые дни у Варт. «Целые дни»! я хотела бы знать, когда я провела там целый день. Тогда я должна была бы, по крайней мере, там обедать. Я-то тут при чем, если Дора позволяет за собой ухаживать? Это же смешно! Но у родителей всегда так. Если один в чем провинился, другие должны страдать вместе с ним.

9 августа. Слава богу, я опять могу идти на теннис. Я до тех пор кланчила у папы, пока он мне этого не

позволил. Дора утверждает, что это ей не нужно. Ну, положим, про то мы сами знаем. Это лисица с зеленым виноградом. Последнее время она разыгрывает из себя больную, не ходит купаться и, когда возможно, остается во время прогулок дома. Я бы хотела знать, чего ей не хватает. Меня удивляет только, что папа это позволяет. Потому что мама всегда очень, ну уж очень, снисходительна к Доре. Она безусловно ее любимица. Особенно, когда нет Освальда. Что Освальд может быть любимцем, это я понимаю, но Дора... Вообще папа всегда говорит, что у родителей нет любимцев. Все дети им равны. Да, со стороны папы это так, хотя Дора утверждает, что я любимица папы. Но, правда, она это только воображает. Мы на рождество и вообще всегда получаем одинаково по-много, а это ведь уже самый верный признак. Роза Планк получает всегда в три раза больше, чем ее братья и сестры. Вот это значит быть любимицей.

12 августа. Я не могу писать каждый день, потому что все время провожу с Варт. Освальд терпеть не может Роберта. Он говорит, что он паршивый мальчишка и что у него еще молоко на губах не обсохло. Такая низость! Я уже три дня с ним не разговариваю, то-есть только самое необходимое. Эрна и Лизель, которым я это рассказала, сказали: все братья так нахальны по отношению к своим сестрам. Я бы хотела знать, почему. В общем, Роберт обыкновенно очень мил к своим сестрам. Они говорят:

— При тебе, потому что он тебя стесняется.

Вчера мы катались со смеха, когда он нам рассказывал, как мальчишки смеются над своими учителями. История с папиросными окурками до смерти смешна. И у них есть союз, который называется Т. аи. М., что значит по-латыни «Молчи или умри», по начальным буквам. Никто

не смеет выдавать. И когда кого-нибудь вновь принимают, он должен совсем раздеться и лечь. И каждый плюет ему на грудь, растирает и говорит:

— Итак, будь нашим.

Но это все по-латыни. И тогда он должен идти к старейшему и величайшему и получает от него парочку розог и должен клясться, что он никогда никого не выдаст. И тогда каждый зажигает папироску и горячим концом ее касается его руки или какого-нибудь другого места и говорит:

— Каждое предательство должно тебя так жечь.

И тогда старейший, у которого есть особенное имя, которого я однако не запомнила, вырезает на нем слово «Таум». Это значит: «молчи или умирай», и сердце с именем какой-нибудь девочки. Роберт говорит, что если бы знал меня раньше, то выбрал бы имя «Гретхен». Я спросила его, какое имя он вырезал. Тогда он сказал, что этого он не смеет выдать. Но я скажу Освальду, чтобы он подсмотрел в купальне и потом сказал мне. В этом союзе страшно издеваются над профессорами и тот, кто придумывает лучшие штуки, избирается в «дикари»; быть «дикарем» — отличие, и другие должны ему безусловно повиноваться. А о некоторых вещах он никак не может рассказать мне, сказал Роберт, потому что это слишком гадко. И затем я должна была ему поклясться, что никому ничего о союзе не расскажу, и он хотел, чтобы я для клятвы стала на колени, но этого я не захотела сделать, и тогда он почти набросился на меня. И, наконец, я должна была дать ему руку и штраф. Это я давала ему уже раньше, потому что в штрафе нет ничего такого; но стать на колени, нет, этого я ни в коем случае не сделаю. Но я страшно перепугалась, потому что мы были в саду совсем одни, и потом

он меня так хватал за горло и сдавливал. О союзе он рассказал именно мне, мне одной, и прибавил:

— Твоего имени я не вправе больше вырезать, потому, что два имени — против наших законов, но зато ты под присягой должна знать, каков я втайне и что думаю.

Я всю ночь не могла заснуть, потому что мне все время снился союз. Неужели и в лицее есть такие союзы и неужели Дора состоит в одном из них и вырезала какое-нибудь имя? Но раздеваться совсем — отвратительно, да еще перед своими школьными подругами. Может быть в союзах лицейских учениц этого не делают. Да я бы и не сказала, что хочу вырезать себе имя Роберта.

15 августа. Вчера Роберт рассказал мне, что имеются еще союзы мальчиков, в которых творятся очень непристойные вещи, но у них этого не может быть. Но он не сказал, в чем дело. Я сказала, что нахожу раздевание до-гола ужасным, но он сказал, что это совсем ничего, что это должно быть, если один другому доверяет, если только при этом не делается ничего непристойного. Я бы очень хотела точно знать, что там делается. Знает ли это Освальд и находится ли он в таком союзе или в приличном. Если бы только я могла добраться до этого! Но спросить я не смею, потому что иначе выдам Роберта. Когда он меня видит, то всегда сдавливает левый локоть так, чтобы никто не видел. Он сказал, что это напоминание, что я должна молчать. Но на самом деле это не нужно, потому что я не выдам его ни в каком случае. Он сказал: «Боль должна связать тебя со мною». Когда он это говорит, его глаза становятся совершенно темными, прямо черными, хотя по-настоящему у него серые глаза и громадные. Особенно вечером, когда мы расходимся, это кажется страшно. Он мне всегда снится.

18 августа. Вчера вечером был роскошный царский праздник с иллюминацией. Мы вернулись домой в половине первого. Сперва мы пошли на концерт в парк и на иллюминацию. С горы стреляли вниз и всюду горели фейерверки; это был форменный ужас, хотя это было чудесно. У меня несколько раз стучали зубы; я не знаю, от страха это делается, или от чего. Потом пришел Р. и рассказал мне страшно много. Он безусловно хочет сделаться офицером. Но для этого ему совсем не нужно так много учиться, так что теперь он учится напрасно. Он говорит, что это ничего, это дает громадный перевес. Я не нахожу, чтобы он выглядел несколько глуповатым; это говорит только Освальд, что меня прямо раздражает. Раз как-то мы случайно отделились от других и сели на скамейку, поджидая их. Между тем я спросила Р. еще раз о других союзах, в которых введены такие непристойные вещи. Но он мне не сказал; он сказал, что не хочет оскорблять мою невинность. Я нахожу это очень глупым; может быть он сам этого не знает и только делает вид, что знает. Только это он сказал, что каждого при вступлении в союз щекочут столько, пока он больше не может выдержать. И один раз с одним сделалась пляска Витта, бывают страшные судороги и тут все бы могло случиться. И с тех пор в своем союзе они не смеют больше щекотать.

— Не пощекотать ли и мне тебя немножко?

— Не воображай себе, — сказала я, — и вообще-то ты ничего не смеешь.

Он громко смеется и сразу хватает меня за руку и щекочет меня под плечом. Мне страшно хотелось смеяться, но я закусила губы, потому что все же иногда проходили люди. Поэтому он тоже отпустил меня и стал щекотать руку. Тут как раз подошла Инспе с двумя другими девоч-

ками, и как только они прошли мимо нас, мы быстро пошли за ними, как будто бы мы все время так шли. Таким образом я избежала нагоняя от мамы, которая всегда хочет, чтоб все были вместе. При уходе Р. сказал:

— Подожди, Гретель, один раз я тебя так пощекочу, что ты закришишь.

Смешно, этого со мной не случится, это все же касается двоих.

Так, в лотерее я выиграла вазу с двумя горлянками и мешочек с конфетами, а Р. столовый прибор. Это его очень рассердило. Инспе выиграла пенал такой, как мне хочется, и зеркало, в котором все выглядят ужасно гадко. Это я ей разрешаю, потому что она слишком много о себе воображает.

29 августа. Боже мой, со мной случилось что-то ужасное. Я потеряла из моего дневника от тридцатой до тридцать четвертой страницы. Должно быть, я забыла его или в саду, или в другом месте. Это ужасно. Вдруг кто-нибудь его найдет. Я даже не знаю точно, что именно было написано на этих страницах. Правда же, я родилась несчастной. Если бы я не поклялась Гелле писать дневник каждый день, то охотнее всего я перестала бы его вести. Что если мама, или особенно папа, что-нибудь узнают? И сегодня такой страшный дождь, что я не могу пойти в сад. Я наверное потеряла его позавчера, потому что вчера и позавчера я не писала. Только бы его никто не нашел, это будет ужасно. Я так взволнована, что за обедом совсем не могла есть, хотя у нас было мое любимое кушанье—репа в мундире. И потом я так несчастна, потому что папа был так озабочен, и мама тоже; они наперерыв спрашивали, что со мной. И я едва могла при всех удержаться от слез. А мы как раз сегодня были в отеле, потому что Рези уехала на два

дня. А потом в комнате, при родителях, я тоже не могла плакать, так как иначе я бы себя выдала. У меня только одна надежда: никто не узнает, что листки мои, потому что Гелла и я пишем в дневнике прямыми буквами, во-первых, чтобы никто не узнал нашего почерка, а во-вторых, потому что так можно больше сберечь бумаги, чем при обыкновенном письме. Только бы завтра была хорошая погода, чтобы я с раннего утра могла поискать в саду. Сегодня меня ничто не радует, я даже не очень рассердилась, когда Инспе сказала:

— Ах, может быть, вы поссорились с женихом?

30 августа. В саду его нет. Я попросила маму, чтобы мы непременно пошли сегодня на Луизенхес. Мама была страшно мила и спросила, почему я так взволнована, не случилось ли чего-нибудь. Тут я больше не могла удержаться и позорно заплакала. И сказала маме, что я кое-что потеряла и это для меня ужасно. Мама подумала, что я потеряла письмо Геллы, которое она прислала мне во вторник, и тогда я сказала:

— Нет, много хуже, мой дневник.

Тогда мама сказала:

— Ну, это же надо, надеяться, не так страшно, ведь он же никому не интересен.

— О нет, сказала я, — в нем написано все о Р. и его союзе.

Тогда мама говорит:

— Смотри, Гретель, раз уже ты говоришь о Р. Мне, правда, не нравится, что ты всегда у Варт. Они к нам не подходят. И Р. не общество для тебя. Теперь, когда ты переходишь в лидей, ты уже не малый ребенок. Обещай мне не быть с ними все время.

— Да, мама, я незаметно отстранюсь.

Тогда она страшно рассмеялась, поцеловала меня в щеки и обещала мне ничего не говорить Инспе о дневнике, потому что незачем ей все знать. Мама просто восхитительна.

Вечером. Слава богу, перед беседкой лежали два листка, совершенно размокшие от дождя и размазанные, а один листок, совершенно разорванный, лежал на земле. Наверное кто-нибудь наступил на него каблуком, а два листка были свернуты в трубку и чуть-чуть сожжены. Значит, никто не прочел. Я так счастлива, а папа за ужином сказал:

— Почему в твоих глазах светится такое необыкновенное счастье? Ты выиграла большой выигрыш?

— Тут я наступила маме на ногу, чтоб она меня не выдала, а папа страшно смеялся и сказал:

— Тут, кажется, в моем собственном доме заговор.

А я быстро ответила:

— К счастью, мы не в собственном доме, а в отеле.

Все смеются и теперь, слава богу, все благополучно. Но в беде становишься умнее. Это со мной не повторится.

31 августа. Я в самом деле хожу меньше с В. и с Р.; мне думается, он обижен. Сегодня днем, когда я шла к завтраку, он схватил меня за руку и сказал:

— Твой отец прав, ты ведьма. Тебя надо прижать. Это подло. Впрочем, я не знала, что значит прижать. Тогда я спросила папу, он мне объяснил и спросил, откуда я это взяла. Тогда я сказала, что слышала это от двух прохожих. По-настоящему я думала, что прижать значит щекотать. Но очень плохо, что мне не с кем поговорить. Большинство уже разъехалось, и мы уезжаем через восемь дней. С прижиманием дело обстоит так. Папе я не люблю врать, но положительно к этому

бываешь вынуждена. Я не могу же сказать, что Р. хочет меня прижать, когда я даже не знаю, что это значит. Дора врет гораздо чаще, и я всегда радуюсь, когда ловлю ее на лжи. Ее вранье слишком очевидно. Я никогда не попадаюсь. Только раз, когда здесь была полковница фон-Стар, папа что-то заметил, потому что он потом сказал:

— Ты плутишка, ты дрянь.

3 сентября. Такая подлость! Я больше никогда не скажу ни слова с Р. Освальд прав, когда говорит, что он паршивый мальчишка. Если бы я в самом деле упала с качелей, я бы могла сломать себе ногу, за четыре дня до отъезда. И еще расспросы, как это случилось. Так щекотать, правда, нахальство, и я его здорово ударила каблуком, кажется, в нос или в зубы. И после этого он смеет говорить:

— Собственно, мне по-делом. Это всегда бывает, когда связываешься с такими младенцами.

Так ему и надо. Ему самому нет еще четырнадцати лет. Это только выдумка, что ему пятнадцать, и, повидимому, он один из самых худших учеников в гимназии. У него все только «удовлетворительно», и он переходит не в пятый, а только в четвертый класс... Во всяком случае, милостивый государь, нам больше не о чем разговаривать. Такой нахал, я этого никогда никому не расскажу, это мой первый, я надеюсь, и последний секрет от Геллы.

6 сентября. Завтра мы уезжаем. Последние дни были ужасно скучные. Я несколько раз видела Р., но отворачивалась. Папа спросил, что у меня произошло с Р., отчего наша такая дружба разлетелась. Конечно, я должна была соврать, потому что правды я никак не могла сказать. Я сказала, что ему не нравится все, что я делаю. Мой

почерк и то, что я не могу читать вслух. (Это и правда, он раз это сказал). И папа сказал:

— Ну, завтра, при прощании, вы уж наверное помиритесь.

Но тут папа очень ошибается. С таким человеком я вообще больше не скажу ни слова.

Дора получает к своему рождению голубой шелковый дождевик. Я нахожу, что, по-настоящему, ей это еще не годится. И потом она слишком худая для плаща.

14 сентября. Позавчера приехала Гелла. Она выглядит великолепно и сказала мне то же самое. Я так рада, что она тоже здесь. Я все же рассказала Гелле об Р. Она возмущена и говорит, что я должна была дать парочку пощечин: одну за щекотку, другую за «младенца» и за «дурочку». Если мы еще когда-нибудь его встретим, то обе ему хорошенько зададим.

17 сентября. Инспе и вправду получила шелковый дождевик. Но капюшон из шотландского шелка, по-моему, слишком детский. Я, однако, ничего не сказала. Только, что плащ ей очень к лицу. Она его, по крайней мере, раз пять примеряла. Серьезно ли папа думает, что она выглядит дамой, или же подсмеивается над ней. Я думаю—последнее, потому что на даму она, правда же, не похожа. Понятно, в конце концов ей минет только четырнадцать лет. Вчера днем было приглашено много девочек. Для меня, конечно,—Гелла, и мы чудесно разговаривали. Но большинство ужасно сочиняли о тех странах, в которых они как будто бы всюду побывали. Нас было девять, но больше всех я люблю Геллу.

21 сентября. Завтра начинается школа, то-есть мы сговорились, что мы никогда не будем говорить—школа, а всегда—лицей. Мне уже страшно интересно.

22 сентября. Сегодня началась школа. Гелла зашла за мной и мы пошли вместе. Инспе пожаловалась маме, что мы от нее убежали. Но нам ведь не нужно гувернантки. Нас тридцать четыре в классе. Классной наставницей у нас докторша, потом у нас две учительницы, один преподаватель и, кажется, еще учительница рисования. Классная наставница преподает немецкий и чистописание. Она нас посадила рядом на третью скамейку. Потом она сказала нам речь. Потом она нам продиктовала книги, но с покупками мы должны подождать до понедельника. У нас две перемены: одна большая и две маленьких. В большую полагается играть, в маленькие—выходить. Я и в народной школе не выходила, а теперь тем более никогда не выхожу. Мама тоже всегда говорит, что это только дурная привычка. Большинство детей выходили даже во время урока. Сегодня у нас не было настоящих занятий. Завтра они начнутся, но мы не знаем, что именно будет. Потом мы пошли домой.

23 сентября. Сегодня у нас была учительница географии и истории. Инспе говорит, что она у них была в прошлом году, но они ее терпеть не могли. Она совсем некрасивая. Папа рассердился и сказал Инспе:

— Глупая, не вбивай ей в голову таких нелепостей. Тут-то и покажи свой авторитет, как большая. У каждого учителя и у каждой учительницы можно чему-нибудь научиться. Если только хотеть.

Но нам, правда, не нравится Фишер, а география и история и без того не мои любимые предметы. Кроме того я учусь не для нее, а для себя. Г-жа Мальбург ужасно милая и красивая. Мы решили писать о ней только «г-жа М.». Когда она смеется, у нее две ямочки и золотая пломба. Она недавно в школе. Я не знаю,

будет ли у нас также пение. По французскому у нас г-жа Арно. Она очень хорошо одета, в черном кружевном платье. У Геллы чудесный футляр для карандашей и перьев. Совсем мягкий. Таким он и должен быть, чтоб не шумел, если во время урока упадет. Кажется, он стоит семь крон или одну крону семьдесят крейцеров. Я точно не знаю. Сегодня у нас уроки были до двенадцати часов. Сначала немецкий, потом арифметика, потом закон божий для католиков, и потом мы ушли. Гелла меня подождала, так как г. пастор не пришел.

24 сентября. Мы думали, что сегодня, в виде исключения, книжные магазины открыты, но ошиблись. Геллина мама сказала, что это, конечно, происходит всегда, когда цыплята хотят быть умнее, чем куры. Днем Гелла была у меня, а Инспе была приглашена к Ф.; туда я с нею не хожу, потому что мне это слишком скучно. Там целый день играют на рояле. С меня довольно уроков музыки. Они начнутся только тогда, когда будет готово расписание. Может быть, с первого октября. Тогда я должна написать г-же В. собственноручно, как она сказала. Она этого требует от всех своих учениц. Учительница Геллы была бы мне приятнее, но у нее нет времени, и она, кажется, очень дорогая. Но, по крайней мере, она не ставила бы мне все время в пример фрейлейн Дору. Ведь не все так музыкальны, как Дора. Вечером Инспе до десяти или двенадцати часов читала толстую книгу и при этом редела. Она это отрицает. И она совсем не могла говорить. Она говорит, что у нее насморк. Лгунья.

25 сентября. Сегодня мы получили расписание профессорских уроков, но еще не окончательное; профессора не решили точно, какие часы они могут нам отдавать. Наша докторша тоже могла бы преподавать в гимназии, но,

будь в нашей школе хоть только одна ученица, все равно, она должна была бы остаться у нас. Завтра у нас на уроке развития речи будет устное изложение: наши каникулы. Самое большее восемь—десять предложений; дома мы можем сделать это письменно, но в школе нельзя заглядывать в тетради. Я уже приготовила. Но о Роберте я ничего не написала. Он не заслуживает даже, чтоб я о нем думала. Я и Гелле всего не рассказала.

25 сентября. Я была на уроке развития речи, и докторша сказала:

— Очень хорошо, как тебя зовут?

— Грета Лайнер,— ответила я, а она сказала:

— А эта, рядом с тобой, твоя подруга? Теперь пусть она нам расскажет, как она провела каникулы.

Гелла тоже хорошо ответила, и докторша опять сказала:

— Очень хорошо.

Потом позвонили. В большую перемену докторша играла с нами в игры. Было очень весело. Я выиграла шесть раз. В маленькую перемену мы оставались совсем одни, потому что весь учительский персонал был занят составлением расписания уроков. У нас есть репетиторша из лицей, Ф. Она сидит на последней парте, потому что она очень большая. Такая же большая, как докторша.

26 сентября. Сегодня у нас в первый раз на уроке естественной истории был профессор Ригель. Он носит пенсне и никогда ни на кого не смотрит. Учительница французского языка, madame A., сказала, что у меня произношение лучше всех. Нам очень много задают, и я не знаю, удастся ли мне эти дни писать дневник. Дети называют профессора Ригеля «Игель», а Вейнман раз сказала «Нигель».

30 сентября. У меня совсем не было времени писать, Гелла уже с двадцать четвертого ничего не пишет. Но сегодня я должна написать, потому что встретила с Робертом на Шотландской улице.

— Здравствуйте, фрейлейн, только не так гордо! — сказал он, проходя мимо.

И не успела я оглянуться, как он уже прошел, а то я бы его хорошо осадил. Надо идти ужинать.

1 октября. Я не могу писать. Освальд приехал из С., он себе вывихнул ногу, и я не знаю, может ли он ходить. Он ужасно бледен и от боли не может вымолвить ни слова.

4 октября. Сегодня мы свободны, по случаю рождения императора. Вчера мне Рэзи рассказала ужасную вещь. Освальду нельзя возвращаться в С. Он что-то выкинул, а что, она не знает, что-то очень неприличное. Мне очень бы хотелось знать, в чем дело. Может быть что-нибудь в клозете. Он там всегда очень долго засиживается, это я еще в деревне заметила. Или, может быть, что-нибудь вышло в его фрейлейне? Инспе делает вид, что знает, но это, конечно, неправда, она не знает ничего. Папа в бешенстве, а у мамы заплаканные глаза. За обедом никто не говорит ни слова. Если бы только я могла знать, что он натворил. Папа вчера ужасно на него кричал, и мы с Дорой слышали, как он сказал:

— Очень это нужно такому мальчишке, (тут мы чего-то не поняли), а потом он сказал:

— Смотрел бы лучше в книги, а не на девчонок и замужних женщин, паршивый ты мальчишка.

Дора сказала:

— Ну, теперь я понимаю.—А я сказала:

— Ну, пожалуйста, скажи мне, ведь он мне такой же брат, как и тебе.

Она ответила:

— Ты ничего не поймешь, это не для детских ушей, как твои.

Это подло. Не для детских ушей! А ведь она даже не на три года старше меня. С тех пор, как ей сделали полудлинное синее платье, она очень много о себе возмечтала и считает себя дамой. Очень она похожа на даму, — когда ест компот, то набивает себе рот так, что не может говорить. Когда я это вижу, я нарочно заговариваю с ней, чтоб ей пришлось мне отвечать. Это ее злит ужасно.

9 октября. Теперь я знаю все!!! Стало быть, вот откуда берутся маленькие дети. Вот об этом-то и говорил тогда Роберт. Нет, я этого никогда не сделаю, я попросту не выйду замуж, потому что тогда это придется делать. Это ужасно больно, но все-таки нужно делать. Как хорошо, что я уж это знаю. Но мне бы хотелось знать, как все это происходит. Гелла говорит, что и она этого не знает по-настоящему. Но может быть ей расскажет ее двоюродная сестра, та действительно все знает. И это продолжается девять месяцев, пока родится ребенок, и много женщин от этого умирают. О, как это отвратительно. Гелла давно уже об этом знала, но не решалась мне сказать. Ей нынче в деревне рассказала одна девочка. Она хотела сказать об этом своей сестре, вернее, она хотела спросить ее, правда ли это все, а Лиззи побежала к матери и передала, что сказала ей Гелла. Мать сказала:

— Как это ужасно с детьми, такие стали испорченные. Не подумай только рассказать это какой-нибудь другой девочке, Грете Лайнер, например, — и нашлапала ее по щекам.

Как будто она в чем виновата! Поэтому она так давно мне и не писала. Бедняжка, бедняжечка, теперь она мне

все расскажет, и мы уж не выдадим друг друга. А Инспе, хитрая кошка, конечно, уж давным-давно об этом знает, а нам не хочет сказать. Но все-таки я не понимаю, почему Роберт тогда у качелей сказал:

— Ты глупая, от этого еще долго может не быть ребенка.

Может быть Гелла это знает. Когда я пойду после обеда на гимнастику, зайду к ней и спрошу ее. Господи, какая я любопытная.

10 октября. Я ужасно боюсь, я не была вчера на гимнастике. Я пошла к Гелле и нечаянно так запоздала, что не посмела уж идти на гимнастику. А Гелла меня уговорила остаться у нее и сказать, будто мы долго не могли решить трудные задачи. К счастью, нам, действительно, одна была задана. Но дома я ничего не сказала, потому что Освальд завтра отправляется в Г., к директору С. Теперь я уверена, что все знаю, и теперь, действительно, Гелла сказала мне все. Как это отвратительно с р... Я не могу дальше писать. Она говорит, что, конечно, это случилось с Инспе уже тогда, как я и писала; Инспе не надо было идти купаться, когда она не хотела; вот она и получила. И как только это должно наступить, то все время живешь в страхе. Потoki крови, говорит Гелла. Но тогда все в кр... Вот поэтому-то в деревне Инспе тушила огонь перед тем, как совсем раздеться, чтобы я не видела. Фу, чорт, я бы ни за что и не посмотрела. Это начинается с четырнадцати лет и длится до двадцати. Гелла говорит, что Берта Франке из нашего класса все знает. Она ей во время урока арифметики написала:

— Знаешь ты, что такое р...?

А Гелла под этим подписала, что, конечно, давно. Франке ее ждала до двенадцати часов, пока шли уроки католического

закона божия, и они вместе пошли домой. Я помню очень хорошо, что я рассердилась, так как это не по-дружески. Во вторник мы шли с Франке, и оказывается, что Гелла ей написала на уроке, что я знаю все, и ей не надо меня стесняться. Инспе что-то подозревает, она все на нас посматривает и язвительно смеется; она думает, наверное, что она одна только может это знать.

16 октября. Завтра день рожденья папы и Доры. Мне всегда досадно, что Дорино рожденье в один день с папиным. На самом же деле, больше всего меня злит, что она очень важничает, между тем, ведь, это простая случайность, как говорит папа. И я не думаю, чтобы это было ему особенно приятно, каждому хочется для своего рожденья иметь свой собственный день, а не с кем-нибудь вместе. И совсем это некрасиво, так о себе воображать. Впрочем, нынче из праздника ничего толком не вышло, из-за истории с Освальдом. Папа в бешенстве, он освободился из конторы на два дня, чтобы ехать в Г., куда отправится и Освальд.

17 октября. Сегодняшний день прошел благополучнее, чем я предполагала. Была вся семья Брукнер, и, конечно, об Освальде говорили мало, только что у него вывихнута нога (это неправда, теперь я знаю это наверно), и о том, что он, вероятно, поедет в Г. А полковник Б. сказал:

— Самое лучшее для мальчика — это военно-учебное заведение, где ему приходится повиноваться.

А вечером Освальд сказал:

— Это ерунда, что говорит отец Геллы, потому что из военного училища так же легко вылететь, как и из гимназии. Вот, как Эдгар Гролер.

Этим он себя выдал, а Дора сейчас же сказала:

— Ах, так! так ты вылетел, а мы думали, что ты вывихнул ногу.

Тогда он ужасно рассердился и сказал:

— Подумаешь, очень мне нужно было вам врать, щенятам,— и хлопнул дверью, благо мамы не было в гостиной.

19 октября. Если бы мы могли только узнать, что произошло с Освальдом. Тут не обошлось без какой-нибудь девочки. Но папа что-то говорил про замужнюю женщину. Вероятно, какая-нибудь замужняя женщина наговорила про него директору или классному наставнику и, таким образом, все открылось. Сказать по правде, я его очень жалею. Я думаю о себе, каково бы было мне, если б все открылось про нас с Робертом. Теперь-то мне безразлично. Но тогда, летом, это было бы ужасно. Освальд почти не говорит ни слова, только с мамой. Он все время делает вид, что читает, но смешно, можно ли на самом деле читать при такой любовной тоске. Франке я ничего не рассказывала, сказала только, что у моего брата несчастная любовь, и поэтому он здесь, в Вене. А она нам рассказала, что нынче летом ее двоюродный брат из-за нее застрелился. В газете было написано, что из-за одной актрисы, но это неправда, это было из-за нее. Ей тоже скоро исполнится четырнадцать лет.

20 октября. Мы теперь чаще всего ходим с Франке. Она говорит, что она уже безумно много пережила, но не может еще всего рассказать, потому что мы недостаточно знаем друг друга. Как-нибудь позднее. Наверное она боится, что мы ее выдадим. Она собирается выйти замуж не позднее шестнадцати лет. Значит, через два года. Конечно, она не успеет окончить лицей, а выйдет из третьего класса. У нее есть три поклонника, но она еще не знает, кого выберет.

Гелла говорит, чтобы я не очень верила, будто все это действительно так верно, с тремя поклонниками.

21 октября. Франке говорит, что когда появляются синие круги под глазами, то значит есть это, а когда рождается ребенок, тогда уж этого нет, пока не родится еще один. И она нам еще рассказывала, как это происходит, но я ей не поверила, мне кажется, что она сама этого не знает, как следует. Тогда она обозлилась и сказала:

— Хорошо, так я больше ничего не скажу, если я не знаю.

А вот о муже и жене, этого я не понимаю. Она говорит, это должно происходить каждый вечер, а то у них не будет ребенка. Если они раз забудут, тогда не родится ребенок. Потому и кровати стоят рядышком. Это называется «брачное ложе». Но это так больно, что еле-еле можно вынести. А нужно, а то муж может заставить; как это заставить — очень я бы хотела знать. Но я уж не спрашивала, а то она бы подумала, что я над ней смеюсь. У мужчин это бывает тоже, но очень редко. Мы всегда теперь ходим с Бертой Франке, она очень милая девочка; может быть мне дома разрешат пригласить ее в будущее воскресенье.

23 октября. Сегодня уехали папа с Освальдом. Мама очень плакала. Когда Освальд уезжал, я ему быстро сказала:

— Я понимаю, как ты страдаешь.

Но он, очевидно, меня не понял, потому что ответил:

— Глупая жаба.

Может быть он сказал так только из-за папы, который стоял около нас со страшным лицом.

27 октября. Господи, все точно заколдовано. Вчера я получила «неудовлетворительно» по истории, а сегодня

в классной арифметической работе ни одного вычисления не сделала верно. А вчера мы так много упражнялись. Я пока ничего не скажу дома. Но за то, что недавно случилось с уроком гимнастики, я боюсь. Хорошо, если мама мне даст деньги с собой, а сама не пойдет, а то уж наверное она обо всем узнает.

28 октября. Сегодня на французском уроке была директриса и очень меня хвалила. Она говорит, что по французскому я могла бы быть в третьем, и еще спросила меня, так же ли успешно я иду по другим предметам. Мне не хотелось говорить ни да, ни нет, тогда все дети сказали:

— Она знает всегда, все.

Тогда директриса потрепала меня по плечу и сказала:

— Мне это приятно слышать.

Как только она вышла, я ужасно расплакалась, а madame Арно спросила:

— Да что с тобой?

А дети сказали:

— Ей за арифметическую классную работу поставили «неудовлетворительно» а между тем она так хорошо считает.

Madame сказала:

— Ну, ты исправишь свою неудовлетворительную отметку.

30 октября. Сегодня у меня была ужасная неприятность с фрейлейн Фишер, учительницей истории. Вчера захожу с мамой в трамвай, сидит Фишер. Я отворачиваюсь, чтобы мама ее не увидела, и та не рассказала бы ей, что я не знала этих глупых саг. А сегодня, как только она вошла, говорит:

— Лайнер, ты знаешь школьные правила?

Я сейчас же поняла, про что она говорит, и ответила;

— Я поклонилась вам, фрейлейн, в трамвае, но вы как раз не посмотрели в мою сторону.

— Очень красиво стараться заглаживать свой проступок ложью. Садись.

Я очень сконфузилась, потому что все дети на меня посмотрели. В одиннадцать часов Франке мне сказала:

— Не обращай внимания, ты у нее на примете, и она всегда что-нибудь да найдет.

— Она, должно быть, все рассказала г-же М., так как та на немецком уроке задала для изложения свободную тему о поклонах. Все дети снова на меня посмотрели. Однако, она ничего не сказала. Вообще, она ангел, моя сладкая Е. М.; ее зовут Елизавета. Но именин она никаких не празднует, потому что она протестантка; это ужасно жаль из-за девятнадцатого ноября.

31 октября. А мне все-таки везет. С уроком гимнастики ничего не узналось, хотя мама и была там сама. А по арифметике за устный ответ я получила сегодня пятерку. Фрейлейн Штейнер тоже очень мило сказала:

— Да, Лайнер, что такое произошло на классной работе, ты, ведь, вообще так хорошо считаешь?

Мне ничего не оставалось, как только сказать:

— У меня тогда сильно болела голова.

Франке чуть не прыснула со смеха; это было некрасиво с ее стороны; я вообще думаю, что ей не вполне можно доверять, она, как будто, немного лживая. Правда, что после урока она сказала, что «болит голова» означает совсем другое.

1 ноября. Сегодня мы начинаем вышивать папе к рождеству коврик на письменный стол. Конечно, Инспе взяла себе правую половину, потому что это легче, а я должна шить левую половину, где приходится всю работу держать

в руках. Маме я делаю мешок для книг из кожи, вышиваю его шелком и разрисовываю красками. Живопись я могу делать в школе у фрейлейн Г., которую я тоже очень люблю. А больше всех я люблю г-жу М. Я не приглашаю к нам Франке,—зачем она вчера смеялась, да и мама не хочет, чтобы приходили совсем чужие девочки.

2 ноября. Я все-таки еще не все знаю. Гелла знает гораздо больше. Мы сказали, что занимаемся естественной историей, а сами перешли в зал, и там она мне многое доверила. Потом вошла Мали, наша новая прислуга, и сказала нам нечто ужасное. Рэзи лежит в госпитале, так как она больна.

Мы еще спросили Мали, правда ли, что это ужасно больно; она рассмеялась и сказала:

— Не так уж это больно, а то не делали бы этого все люди.

Гелла спросила:

— Разве вы уж это делали, вы, ведь, не замужем?

Тогда она сказала:

— Отстаньте, барышни, о таких вещах не говорят, это некрасиво.

Мы очень сконфузились и стали просить ее ничего не говорить маме. Она нам поклялась.

5 ноября. Из-за глупого пояса все открылось. Позавчера разбираюсь я в своем сундуке, привожу все в порядок, входит Мали делать постель и видит пояс с бахромой.

— Эх,—говорит она,—хорош пояс!

— Вы можете взять его себе, я его больше не ношу,—сказала я.

Вчера за обедом мама бросает взгляд на Мали, и я чувствую, что краснею. После обеда мама говорит:

— Гретель, ты подарила Мали пояс?

— Да,—говорю я,—она у меня попросила.

Как раз в это время входит Мали и говорит:

— Нет, ничего я не просила, барышня Грета сама мне его дала.

И я не знаю, как я очутилась в своей комнате; туда приходит мама и говорит:

— Нечего сказать, много радости видишь от своих детей. Мали мне рассказала, о каких хороших вещах вы с Геллой разговариваете.

Я бегу сейчас же в кухню и говорю Мали:

— Как вы можете так сплетничать? Вы сами вмешались в наш разговор. Это низость, колоссальная низость.

Вечером она пожаловалась на меня папе, и папа ужасно бранится и говорит:

— Милые дылды у меня растут, нечего сказать. Твоей дружбе с Геллой будет положен предел, поняла?

6 ноября. Лучше всего, что теперь я оказалась «глухой гусыней». Когда я подтолкнула Геллу, чтобы она не говорила при Мали, она засмеялась и сказала:

— Что ты думаешь, Мали ведь все знает, может быть лучше, чем мы с тобой вместе.

А теперь я же «глухая гусыня». Теперь я, по крайней мере, знаю, что я такое—глухая гусыня. И так говорит лучшая подруга!

7 ноября. Мы с Геллой очень холодны. Мы ходим вместе, но говорим о самых обыкновенных вещах, о школе, занятиях, ни о чем другом. С сегодняшнего дня мы ходим на каток, как только нам позволяет время, но это, к сожалению, бывает не часто. Мама за нас вышивает коврик. Это ужасная работа, но у нее меньше дела, чем у нас.

8 ноября. На каток приходит одна чудная барышня, она великолепно делает круги, восьмерки и фигуры.

Я бегала сзади. Когда она пришла в раздевальню, от нее сильно запахло духами. Скоро ли выйдет замуж и знает ли она все это? Она так хороша. Она постоянно откидывает назад свои волосы, когда они падают на лоб. Я хотела бы быть такой же красивой, тогда я была бы счастлива. Но, к сожалению, я брюнетка, а она блондинка. Если бы я только могла узнать, как ее зовут и где она живет. Завтра опять пойду на каток, уж буду заниматься ночью.

9 ноября. Я очень встревожена; ее не было на катке. Может быть она заболела.

10 ноября. Сегодня опять нет. Я пробыла там два часа, но, к сожалению, напрасно.

11 ноября. Наконец! Сегодня она пришла. Господи, она так прекрасна!

12 ноября. Она со мной заговорила. Я стою у дверей и вдруг слышу сзади смех, и я сразу узнала. Это она! И, действительно, она подходит и говорит:

— Давайте вместе кататься.

— О, пожалуйста, если позволите,—говорю я. Мы беремся за руки крест-на-крест и бегаем вместе. У меня сердце прыгало от радости, мне так хотелось говорить, но ничего умного не приходило в голову. А когда мы подходим к двери, там уже стоит какой-то господин и раскланивается с ней, и она тоже кланяется, а мне говорит:

— До свидания.

Я быстро ее спрашиваю:—Когда, завтра?

— Да, может быть,—воскликнула она.

Только может быть, может быть, если б только уж было завтра.

13 ноября. Инспе утверждает, что ее зовут Анастасия Кластошек. Но это неправда, не может быть у нее

такого имени, скорее—Евгения или Серафима, или Лаура, но—Анастасия, это, наверное, неправда. И для чего существуют такие отвратительные имена? А вдруг, действительно, ее так зовут? И к тому еще Кластошек—цыганское имя, и что она, наверное, из Моравии, и ей двадцать шесть лет, смешно,—двадцать шесть лет; ей наверное, самое большее, восемнадцать лет; нет, столько лет ей не может быть. Дора утверждает, что она живет на улице Форуса, и говорит, что она совсем не так красива. Это, конечно, лишь черная зависть; Дора только себя считает красивой.

14 ноября. Я спросила кассиршу; ее зовут, действительно, Анастасия Кластошек, и она живет на улице Форуса, но сколько ей лет, барышня не знает. Сначала она мне не хотела говорить и спросила, для чего это мне надо знать, и кто меня послал спросить. И только, когда я сказала, что это мне надо знать для себя, она посмотрела в книгу, так как я знаю номер ее гардеробного шкафа—тридцать шесть. Это такое красивое, нежное число, мне оно так нравится, я, собственно, не знаю почему, но когда его произносишь, то как будто бы белочка прыгает по дереву.

20 ноября. У меня нет никакой возможности писать каждый день. Мама лежит в постели, и доктор приходит ежедневно, но я все-таки не знаю, что у нее болит; я думаю, и доктор этого тоже не знает, как следует. Когда мама больна, в доме становится как-то жутко, и она сама говорит:

— Только бы не быть больной, это самое большое несчастье.

А мне, вот, ни по чем; когда я больна, я даже с удовольствием хвораю; тогда все так мило, папа приходит

и сидит на кровати, даже Дора всячески ухаживает, так как тогда она «исполняет свой долг». Впрочем, я тоже за ней ухаживала, два года назад, когда у нее была дифтерия; тогда она чуть не умерла, у нее температура была 41,8. Мама тогда все глаза выплакала. Папа никогда не плачет. Должно быть, очень комично смотреть, как плачет мужчина. Когда нынче с Освальдом вышел скандал, я уверена, что он плакал; папа ему закатил пощечину; хотя он и сказал, что нет, но, я думаю, да; плакал-то он наверное, хотя и не сознался. Никакого стыда в этом, конечно, нет, к тому же он еще не взрослый мужчина. Когда я страшно сержусь, тогда я плачу. А из-за пощечины, во всяком случае, не стала бы плакать.

21 ноября. Сегодня на уроке закона божия Лизель Шретер, любимца господина Катечетен,—нет, мы должны говорить «господина профессора»—значит, любимца господина профессора, подошла к нему с библией и спросила, что такое «зачавшая». Действительно, о Марии так и сказано в библии. Шретер, правда, еще ничего не знает, и дети ее подзадоривали до тех пор, пока она не пошла и не спросила. Профессор покраснел и сказал:

— Если ты этого еще не знаешь, это не беда. Мы будем это учить позже, мы, ведь, еще проходим ветхий завет.

Я была рада, что Геллы не было рядом со мной на уроке закона божьего—она протестантка, а то мы, наверное, лопнули бы со смеха. Некоторые ученицы очень смеялись, и тогда профессор сказал Шретер:

— Ты хорошая девочка, не обращай внимания на других.

И Шретер ужасно плакала. Я бы ни за что не спросила, даже если б действительно не знала. Впрочем, «зачавшая» глупое слово и не имеет никакого значения, только разве для того, кто его знает.

22 ноября. Когда мы вчера с Франке пошли после урока закона божия, конечно, мы говорили об этом. Она говорит:

— Только для того и женятся люди, только для того.

Я не думаю, чтобы люди только из-за этого женились. Есть много людей, которые женятся, а все-таки у них не рождаются дети.

— Нет, я права,— сказала Франке,— это наверное так.

И она мне многое рассказала, чего я не могу записать. Это слишком отвратительно, а я и так это запомню. Когда я сегодня сидела у мамы на кровати, вдруг у меня мелькнуло, что действительно папина кровать стоит совсем рядом с маминой. Об этом я никогда раньше не думала. А теперь-то, ведь, это совсем не нужно, потому что мы все уже большие. Значит, просто осталось все стоять, как было раньше.

— Что это ты все так осматриваешь, моя малютка?— спросила мама.

Я ничем себя не выдала и только сказала:

— А что, если б твою кровать поставить сюда ближе, а потом умывальник, то тебе удобнее было бы читать, когда ты лежишь в кровати.

— Этого нельзя из-за зеркала, там стена вся избита,— говорит мама.

Больше я ничего не сказала, и мама тоже. Я вообще люблю больше спать на диване, чем на кровати, потому что тогда так хорошо можно прижаться к спинке. Я рада, что мама ничего не заметила. Надо ужасно следить за собой, чтоб не выдать себя, когда все знаешь.

25 ноября. Я читала чудесный рассказ, называется «Верное сердце», там говорится об одной девушке; ее жених должен уехать, потому что он застрелил того, кто

стал ему поперек дороги. А Роза остается ему верна, до его возвращения через десять лет, и потом они женятся. Это великолепно, а главное—ужасно печально. Такие книги мне нравятся, но те, которые имеются в народной школе, я уж все перечитала, и барышня никогда не могла выбрать, что дать нам с Геллой. К сожалению, из лицей мы получаем только одну книгу в месяц, так как докторша говорит, что нам так много приходится работать, и поэтому, когда мы свободны, мы должны пользоваться свежим воздухом. Мне и на каток не приходится ходить каждый день. Мне очень нравится «Золотая Фея», как я ее окрестила, но имя ее, по-моему, ужасно. Как ее зовут? Инспе говорит, что—Стази, но этому я, конечно, не верю: уж скорее—Анна, но это так просто. Слава богу, что меня Гелла всегда зовет «Рита». Только дома, к сожалению, все говорят—Гретель. Недавно я сказала Инспе:

— Если ты желаешь, чтобы я говорила «Теа», то прошу мне говорить «Рита», а «Гретель» запрещаю совсем: так говорят маленьким детям или крестьянским девочкам.

А она сказала:

— Господи, не все ли мне равно, как ты меня называешь!

Ну, пускай остается «Дора», но уж навсегда.

27 ноября. Папа назначен Советником Окружного Суда. Он очень рад и мама тоже. Вчера вечером мы пили и чокались за его назначение. Теперь он может стать Председателем Главного Окружного Суда, но не сейчас, а только года через два. В мае мы, вероятно, переедем, так как возьмем квартиру побольше. Инспе сказала маме, что ей очень хочется тогда иметь свою собственную комнату, где ей бы не мешали. Смешно, кто же это ей мешает? Уж не я ли? Скорее она мне, когда

подглядывает, как я пишу дневник. Гелла тоже всегда говорит:

— Старших сестер не должно было бы существовать.

И она совсем, совсем права. К сожалению, этого не изменишь. Мама говорит, что для Николиного дня мы уж слишком взрослые; я с этим не согласна, для этого никогда нельзя быть слишком взрослой. И потом ведь Ин-спе еще в прошлом году что-то получала на Николин день, а ей уж было тринадцать лет, а мне еще нет двенадцати. Да и получаем-то мы только шоколад, конфеты и финики, а такие вещи, в сущности, не настоящие подарки. Дети хотят поставить докторше на кафедру большую бонбоньерку. Но, по-моему, это глупо. Нельзя дарить только одной учительнице, которую любим, а другой, которую мы терпеть не можем, жаль дарить сладости, а пуетую поставить мы тоже не можем, — это было бы обидой. В этом отношении мама права, что это годится только для детей.

1 декабря. Мы дарим всем по бонбоньерке, каждая дает по одной кроне: надеюсь, что папа даст мне крону не в счет. Может быть он вообще теперь прибавит нам карманных денег, хоть по одной кроне. Это было бы отлично. Учителям, которых мы любим, мы дарим большие бонбоньерки, а тем, кого любим меньше, маленькие. Только относительно И. мы никак не можем сговориться, но если только он один ничего не получит, он, пожалуй, обидится.

2 декабря. Сегодня мы ходили покупать бонбоньерки для учителей. Доктор М. получит самую красивую с большой рыбой, а у Келлер есть крошечные книжечки, на которых написано Шиллер, Гёте и сказки; их мы положим сверху, а под ними конфеты. Это совсем для нее

подходящее, потому что докторша преподает немецкий язык, а этих поэтов проходят в четвертом классе на немецких уроках. В ноябре в четвертом классе был Шиллеровский праздник; у нас она тоже сказала очень хорошую речь, а некоторые дети декламировали. Впрочем, Гелла мне показала одно ужасное стихотворение Шиллера. Там сказано:

«Зайди лишь я в купальню к ней,
Она бы закричала;
Мужчина я, а то бы ей
Кричать на ум не вспало».

и еще одно место:

«Подобье божие — мой вид,
Я смело уверяю,
И мне свободный вход открыт
Ко всем утехам рая» *).

Но это есть только в большом издании Шиллера. Мне кажется, что у нас много таких книг в книжном шкафу, потому что, когда Инспе недавно там шарил, мама закричала ей из соседней комнаты:

— Дора, ты что именно ищешь в шкафу? Я тебе скажу, где это стоит.

А она сказала:

— Ничего, я только посмотрела, — и поскорее заперла шкаф.

4 декабря. Дети такие глупые, устроили ужасный переполох из-за бонбоньерок учителям. Никак не сходятся денежные расчеты, — и Келлер сказала, что Маркус взял кое-что себе, а потом сказала, что не взяла, а удержала.

*) Из стихотворения Шиллера «Достоинство мужчины». Перевод Ф. Миллера.

Маркус, конечно, пожаловалась докторше, а ее папа пошел к начальнице и тоже пожаловался. И докторша сказала, что нам должно быть известно: всякие денежные сборы запрещены и дарить бонбоньерок никому нельзя. Теперь у Келлер пять бонбоньерок, и мы не знаем, что нам делать. Мама сказала, что такие затеи никогда не бывают удачными, всегда выходит ссора.

5 декабря. Мы ужасно боимся: Гелла, я и Берглер Эдит поставили перед дверью г-жи М. бонбоньерку, которую для нее купили. Берглер знает ее квартиру, потому что каждый день проходит мимо нее. Догадается ли она, от кого бонбоньерка? Я совсем не знала, что Берглер Эдит такая милая; мне она всегда казалась такой фальшивой: это оттого, что она носит очки. Но она, правда, не фальшивая,—вот как можно ошибиться. Завтра у нас немецкое классное сочинение.

6 декабря. Сначала г-жа М. ничего не сказала. А потом продиктовала тему для классного сочинения: «Почему я однажды вечером не могла заснуть». Все дети были совершенно поражены и тогда она сказала:

— Полно, дети, это совсем не так уж трудно. Один не может заснуть оттого, что к нему подкрадывается болезнь, другой от возбуждения, вследствие радости или страха; у другого не чиста совесть, потому что он сделал именно то, что ему запрещают. Ведь нечто подобное каждая из вас переживала?—и при этом она очень пристально поглядела на Берглер Эдит и на нас двоих. Так что мы не знаем наверное, догадывается ли она или нет?

Вчера я не могла пойти на каток, где был праздник, потому что очень сильно кашляю. Дора тоже не пошла, оттого что у нее болела голова; не знаю, настоящая ли это головная боль, или такая; вероятно, такая.

17 декабря. Уже целую неделю не удавалось писать. Третьего дня мы получили четверти. По истории у меня удовлетворительно, по естественной истории — хорошо, все остальное — очень хорошо. Из-за глупой Фишер у меня по прилежанию только четверка. Это очень рассердило папу; он говорит, что по прилежанию каждый может иметь пять. Это верно, но если иметь хоть одно «удовлетворительно», то уж за прилежание не получишь пяти. У Инспе, конечно, все — пять, только за английский четверка. Зато и зубрит же она! Первая у нас Вербеневич, но мы все ее терпеть не можем; она о себе безумно воображает, и Франке говорит, что ей нельзя доверять. Франке позволяет своему двоюродному брату, который в седьмом классе, провожать себя в школу; ей уж скоро будет четырнадцать лет, и она очень хорошенькая. Она не говорит, какая у нее четверть; я думаю, что очень плохая.

18 декабря. Сегодня за ужином Дора упала в обморок оттого, что в ее яйце оказался цыпленок, конечно, еще не настоящий, но уже заметны крылышки и голова, в значительном состоянии, как сказал папа. Но из-за чего тут падать в обморок, право, не вижу. Потом она сказала, что это от страха. И теперь она никогда больше не сможет есть яйца. Сначала папа очень испугался, так же как и мама, а потом он рассмеялся и сказал:

— Вот фокусы!

После этого ей пришлось сейчас же лечь в постель, а я еще очень долго сидела с родителями. Когда я потом пришла в нашу комнату, она читала, то-есть я видела свет в щелку двери; но когда я открыла дверь, в комнате было уже темно, и когда я спросила: ах, ты еще читаешь? она ничего не ответила, а сделала вид, будто проснулась оттого, что я зажгла свет, и говорит:

— Что случилось?

Я терпеть не могу такого притворства и потому сейчас же ей ответила:

— Ну, пожалуйста, ты отлично знаешь, что теперь девять часов.—И больше ничего. Сегодня, по дороге в школу, мы друг другу ни слова не сказали; к счастью, она скоро встретила кого-то из своего класса.

19 декабря. Очень мне любопытно, что я получу к рождеству. Пожелала я себе: меховые вещи, именно: белое боа, муфту и бархатный берет с такой же отделкой, джексоновские коньки, потому что мои всегда хлябают, сказания о немецких героях, только уж не греческих, (благодарю покорно!), ленты в косу, ажурные чулки и, если можно, золотую булавку (такую же, как получила Гелла на свое рождение). Но папа говорит, что это, пожалуй, будет уж очень дорого. Инспе попросила себе корсет, но я думаю, что она его не получит, так как это вредно. Ковер для папы готов, уже в стрижке, мамнина сумочка для книг еще не совсем готова. Доре подарю маленький нессесер. Да, забыла свое главное желание — шкатулку, чтобы прятать мой дневник. Дора тоже пожелала себе ажурные чулки и три тома «Крендхен». Недавно со мной случилась ужасная вещь. Я оставила лежать или потеряла, не знаю наверное, страницу из дневника. Когда я вернулась домой, Инспе сказала:

— Это ты потеряла? Это твои школьные заметки?

Я даже сразу не поняла, но потом узнала по формату и говорю:

— Да, это заметки.

— Хмм,—говорит Инспе,—только вряд-ли школьные. Благодарю бога, если не скажу ничего маме. А кроме того, если

не умеешь писать грамотно, то браться за дневник нечего. Совсем это не для детей.

Как я разозлилась! Потом в клозете посмотрела, какую это я сделала ошибку: нашла две совсем маленькие, вот и все. Я хоть тому была рада, что о ней там ничего не было написано. Ошибки она подчеркнула красным карандашом, точно учительница; это уж совсем наглость. Самое лучшее было бы писать в тетради с замком и всегда его запирать, тогда никто ничего не прочтет и никаких ошибок подчеркивать не будет. Меня это злит безумно, но из-за мамы ничего не могу ей сказать, разве по дороге в школу; да нет, если совсем не буду с ней говорить, это ее больше всего рассердит. Если буду об этом много говорить, то мама опять вспомнит о пяти страницах в деревне, а это нежелательно.

22 декабря. Сегодня приехала тетя Дора. Она теперь у нас поживет, пока мама совсем не поправится. Я ее не очень хорошо помнила, потому что мне было четыре или пять лет, когда она уехала из Вены.

— Милый черный жучок, — сказала она и поцеловала меня.

«Черный» мне не очень-то нравится, но Гелла говорит, что мне это идет, что это пикантно. «Пикантной» всегда называют офицеры ее двоюродную сестру в Кремсе, о которой папа говорит, что она une beauté—это то же самое, что красавица, а она также совсем темная. Но я все-таки больше хотела бы быть блондинкой, блондинкой с карими или, еще лучше, серо-голубыми глазами. Буду ли я когда-нибудь такой же beauté? Надеюсь, что да.

23 декабря. Я ужасно радуюсь завтрашнему дню. Что-то я получу? Теперь надо идти украшать елку. Инспе как раз спросила:

— Разве и Гретель будет украшать? Она ведь никогда не украшала.

Желала бы я знать, почему это мне нельзя? Но тетя сейчас же взяла мою сторону:

— Конечно, она тоже будет украшать; только смотри, не набивай все в зобок.

— Если Дора не будет есть, то и я не буду, — сказала я сейчас же.

Вечером. Вчера последний раз были в школе. Нас распустили с двадцать третьего по второе января. Чудесно. Каждый день буду ходить на каток. Сегодня и завтра, конечно, будет некогда. Не знаю, послать ли открытку «Золотой Фее». Если бы только имя у нее было красивее. А то—Анастасия Кластошек, ужасно это просто. Вообще, все эти богемские имена такие простонародные. Папа знает одного графа Вильчека, но еще хуже—Шафгош. Я ни за что не вышла бы замуж за какого-нибудь Вильчека, будь он и графом и миллионером. Вчера мы поздравляли всех учителей; у докторши была я с Вербенович, потому что она нас больше всех любит, то-есть это нам так кажется. К профессору Ригель-Ежу,—мы называем его всегда «Никкель»,—никто не захотел пойти, потому что он на поздравлении всегда отвечает: «ладно». Это же гадость! Так что пришлось идти поздравлять дежурным. Перед рождеством докторша убеждала нас не делать никаких подарков педагогическому персоналу:

— Прошу вас, дети, не делайте этого, выйдут неприятности; вспомните, что было с Николиным днем. На дом учителям посылать тоже ничего нельзя, да и перед дверью благовоспитанный младенец—Христос тоже ничего не ставит, и при этом она пристально поглядела на меня и на Берглер Эдит.

Значит, она все-таки знает про бонбоньерку. Я так устала, что глаза у меня просто слипаются. Ура! завтра рождество.

24 декабря. Рождественский день — отвратительный. Не знаешь, что делать, ничто не радует. На каток идти не могу, лучше уж напишу. Вчера приехал Освальд. Все нашли, что у него хороший вид, а по-моему, он ужасно бледный и сам он так язвительно усмехнулся, когда все хвалили его хороший цвет лица; понятно, как же у него может быть здоровый вид, когда он влюблен. Очень бы мне хотелось ему сказать, что я его вполне понимаю, но он слишком горд, чтобы нуждаться в сочувствии. На рождество он попросил подарить ему револьвер армейского образца, но думаю, что он его не получит, так как ученики средней школы не имеют права носить оружие. Недавно в одной гимназии, в Галиции, ученик из мести убил своего профессора; говорили, что это за дурные баллы, но на самом деле все произошло из-за одной девушки, хотя профессору было уже тридцать шесть лет. Сегодня утром мы ходили с Освальдом в город за покупками; встретили Вартов, то-есть Элли и Роберта. Освальд находит, что Элли ничего себе, а про Роберта говорит, что он немазанный урод и что ему не нравится, как он пялит на меня глаза; а если бы он знал, что было летом! Я обращалась с Робертом ужасно свысока и это его бесило.

— Если бы вас, девочек, можно было уберечь от всего печального, что мир называет «любовью», — сказал мне Освальд на обратном пути.

И только что я собиралась сказать ему: «Я знаю, что ты несчастлив в любви, сочувствую тебе», — как появляется из-за угла Инспе со своей приятельницей, а за ними бегут два офицера, так что они нас даже не заметили.

— Чорт возьми, Фрида-то похорошела, это лакомый кусочек,—сказал Освальд.

Я не выношу таких пошлых выражений и всю дорогу больше не разговаривала. Он это заметил и сказал маме:

— У Гретель от зависти рот замерз.

Больше ничего. Это, действительно, гнусно, и я теперь, по крайней мере, знаю, как поступать. Боже мой, еще несколько слов на-спех. Рождественский вечер вдребезги испорчен. Чей-то лакей принес букет цветов Доре, и папа в ярости. Я бы хотела знать—от кого; ведь не от сегодняшних же офицеров. Инспе, понятно, говорит, что не знает, от кого. Меня только удивляет, что Освальд ничего не выдал, только сказал.

— Ну, и вкусец.

Но папа его сейчас же оборвал:

— Заткнись ты, и подумай о своих мерзостях.

Это я ему накликала; я сама тоже не нахожу Дору такой очаровательной, но ведь кому-нибудь и она может нравиться. В букете было стихотворение; его Дора быстро и незаметно выхватила, прежде чем увидал папа. Оно прекрасное и подписано так: «Тот, кому вы украсили рождественские праздники». А в заголовке—«Чары». Я нахожу это просто геройством со стороны Доры, что она так себя не выдает; уверяет и меня, что ничего не знает; если только это не одна из ее хитростей. Я думаю, что это, пожалуй, от того молодого студента, который с ней всегда бегаёт на катке.

25 декабря. Совсем не было времени писать. Я получила все, чего желала, а от тети Доры каждая из нас получила по перламутровому биноклю в плюшевом мешочке. Мы как раз будем ходить на все спектакли для учащихся, мы получили от папы письменное разрешение, он именно

написал: на все спектакли в учебном году 19... по 19... Я ужасно радуюсь, потому что г-жа М. тоже будет ходить. Если бы удалось сидеть с ней рядом!

31 декабря. Хотела перечитать сегодня все, что написала, но это не удалось. Но в новом году нужно, действительно, писать каждый день.

1 января 19... Хотя несколько строк хочу написать. Днем были мы приглашены к Ридбергам, и там были господа Варт-фон-Вернхоф! С Лизель я разговаривала, как всегда, а с Р.—ни слова. Они ушли раньше нас, и тогда Гелла меня спросила, что было между мной и Р. Он сказал про меня:

— Очень мне нужен этот черный гусенок, — и еще, что мне можно напелсти все, что угодно: я так глупа, что всему поверю.

Не понимаю, в чем тут дело; мне он никогда ничего не плел. Впрочем, из-за него не стану портить себе первый день в новом году. Но Гелла права: если первого января первый, кого встретишь, будет простой человек, то это уже дурное начало. А я, именно, еще утром, выходя из ворот, встретила нашего почтальона, который всегда ворчит, если ему не сразу откроют. Я скорее отвернулась и напротив меня—как раз изящный молодой человек; но это было уже бесполезно, простой почтальон был все-таки первый.

12 января. Я ужасно злюсь. Нам больше не позволяют ходить на каток, потому что Инспе опять возится со своими дурацкими ушами и мама вообразила, что воспаление среднего уха она в прошлом году схватила именно на катке. Ну, хорошо, тогда пусть она и не ходит, а я-то! Я-то тут причем, что она такая неженка. Папа, вообще,—сама справедливость, но в данном случае я его не

понимаю. Это ведь просто смешно, то-есть, вернее, грустно, а не смешно. Я возмущена. Говорить во всяком случае ничего не буду.

12 февраля. Вот уже целый месяц ничего не писала, так много приходилось учиться. А сегодня получили отметки. По прилежанию у меня, несмотря на то, что я так много занимаюсь последнее время, опять только четверка. Г-жа М. произнесла великолепную речь и сказала: «Что посеешь, то и пожнешь». Но это не всегда верно. По естественной истории я два раза ничего не знала и все-таки получила пятерку, а по истории только раз получила «удовлетворительно». Фрейлейн Ф. меня действительно терпеть не может за то, что я тогда ей не поклонилась в трамвае. И оттого, когда мама приходила справляться в январе, она сказала:

— Ей не хватает настоящей зрелости.

Я тогда слышала, как папа сказал маме:

— Боже мой, да ведь она еще ребенок.

А сегодня он устроил мне скандал из-за четверки по прилежанию. Мог бы это вспомнить. Дора уверяет, что у нее пятерки, но она не показывала своих отметок. А я тому, чего не вижу, не верю. А мама ее просто не выдает.

15 февраля. Папа страшно сердится оттого, что у Освальда «неудовлетворительно» по греческому языку. В сущности, греческий ни к чему; никому он не нужен, кроме тех людей, что живут в Греции, а туда ведь Освальд никогда не поедет, даже если он будет членом суда, как папа. Дора, конечно, проходит латынь, ну, я-то уж не стану. У Геллы отметки неважные, и ее папа просто бесновался. Он требует, чтобы она была первой, но она этим не слишком прельщается и говорит:

— Нельзя иметь всего.

Если во втором полугодии у нее не будет круглой пачки, ей больше не позволят ходить в лицей. Ее отдадут в городскую школу. Тогда она покончит с собой. Папа тоже странный: для чего иметь книги, как не для чтения? Вчера я читала «Журнал для девочек»; а папа вошел и говорит:

— Читала бы ты лучше историю, чем эти историйки, — и закрыл мне книгу.

Я пришла в такую ярость, что уже в семь часов, без ужина, легла в постель.

20 февраля. Сегодня я встретила «Золотую Фею». Она заговорила со мной и спросила, отчего я не прихожу на каток. Костюмированный бал, четырнадцатого числа, был великолепный. Я сказала:

— Подумайте, фрейлейн, у моей сестры в прошлом году было воспаление среднего уха и потому теперь нам обеим нельзя туда ходить.

Она ужасно смеялась и так очаровательно сказала:

— Вот гадкая сестра.

Она просто божественная: темно-коричневый костюм, обшитый чудесным мехом, кажется, собольим, и гигантская фетровая шляпа с шелковыми лентами, изящнейшая. А глаза ее, рот! Я думаю, что она выйдет замуж за того господина, который всегда с ней катается на коньках. Когда осенью нам будут делать новые зимние костюмы, я себе закажу темно-коричневый с мехом; нет никакой необходимости быть нам всегда одинаковыми. Гелла и Лиззи никогда одинаково не одеваются.

8 марта. С Франке я больше не разговариваю; она просто подлая. У меня так болит голова, потому что я проплакала весь урок. Во время урока арифметики она

написала Гелле и мне: «Сношение значит совсем другое». А фрейлейн как раз в это время взглянула и говорит:

— Кому это ты киваешь?

А она говорит:

— Лайнер, потому что она смеялась над словом «сношение».

Но это действительно была неправда. Сначала я даже ничего и не подумала, и только когда читала записку, мы с Геллой вспомнили о том, что значит «сношение». После урока фрейлейн С. зовет нас вниз, в учительскую, и говорит докторше, что мы, то-есть Франке и я, смеялись над словом «сношение». А г-жа М. говорит:

— Над чем тут смеяться? Старайтесь лучше хорошенько считать.

А фрейлейн говорит:

— Стыдитесь, в первом классе вам таких вещей и знать не следовало бы. Я вызову ваших матерей.

Во время немецкого языка г-жа М. задала нам для письменной работы изречение: «Чистое сердце, правдивое слово, ясное чело и открытый взгляд да будут вашими сокровищами»,—или что-то в этом роде.

10 марта. Сегодня Франке хотела объясниться, но Гелла и я сказали, что мы с ней не разговариваем. Пускай она вспомнит о том, какие вещи она нам рассказывала. Тут она стала от всего отпираться и сказала, что мы и так все знали, нечего нам представляться. Это подлость; мы, в сущности, ничего не знали и она нам все рассказала. Гелла мне часто говорила, что ей бы хотелось ничего не знать, потому что она всегда боится проговориться и еще потому, что часто она думает об этих вещах, когда ей нужно учиться. Со мною бывает

то же самое. А иногда такие вещи видятся во сне, если об них говорить днем. Но все-таки лучше все знать.

22 марта. Я так редко пишу, во-первых, оттого, что приходится много учиться, а во-вторых, оттого, что меня это больше не радует с тех пор, как папа это сказал. Когда я в последний раз писала, — это было в субботу днем, — входит папа и говорит:

— Идемте, дети, мы поедем в Шенбрунн. Это вам полезнее, чем царапать дневники, которые вы потом забываете кое-где.

Значит, мама все рассказала папе на каникулах. Я никак не ожидала этого от мамы, ведь я ее так просила поклясться мне, что она никому не скажет. А она сказала:

— В этом не клянусь, но я и так никому не скажу, — а все-таки рассказала, хотя и обещала никому не говорить. С этим нельзя сравнить даже двуличие Франке. Ту мы со вчерашнего дня знаем, но чтобы так поступала мама, этому я никогда бы не поверила. Я рассказала это Гелле, когда мы ходили гулять в Тиволи, и она сказала, что тоже не вполне доверяет своей маме, уже скорее — папе. Но он, если бы такая вещь случилась с ней, избил бы ее дневником по щекам. Я и виду не подавала, но вечером только слегка поцеловала маму и она сказала:

— Что с тобой, детка? Случилось что-нибудь?

Тут уж я не смогла сдержаться, ужасно расплакалась и сказала:

— Ты меня позорно предала.

Мама сказала:

— Я?

— Да, ты; ты рассказала папе про дневник, хотя обещала мне ничего не говорить.

Сначала мама даже не могла этого припомнить, но потом все вспомнила и сказала:

— Деточка, ведь папе все можно говорить. Ты же не хотела, чтобы Дора что-нибудь узнала.

Это, действительно, правда, это было бы уж совсем прекрасно, но и папе знать этого тоже не следовало. Мама была страшно ласковая и милая; я только в десять часов пошла спать. Но больше я ей никогда ничего не скажу, и самый дневник меня больше не радует. Гелла говорит:

— Это все глупости, — и я отлично могу писать и дальше, только больше ничего не терять и не выбалтывать всего папе и маме. Она своей маме ничего не говорит с тех пор, как летом мама дала ей пощечину за то, что чужая девочка ей все рассказала. Это верно, Гелла права, это с моей стороны ребячество, что я со всем бегу к маме и все ей рассказываю. А со стороны папы не очень-то хорошо дразнить меня дневником; вероятно, у него самого дневника никогда не было.

27 марта. Ура! На пасху мы едем в Хайнфельд. Я безумно радуюсь. Там живет мамина приятельница, ее муж там доктор и потому они должны жить там круглый год. В прошлом году она однажды приезжала к нам на три дня с Адой, потому что у нее болели глаза. Ада, правда, почти одних лет с Дорой, но Дора со своей обычной наглостью говорит: «По своему умственному развитию она стоит гораздо ближе к тебе». Ведь Дора воображает, что умнее ее нет на свете человека. У них есть еще два мальчугана, но я их мало знаю, потому что им только восемь и девять лет. Мамина приятельница сидела в сумасшедшем доме, так как после смерти своего двухлетнего ребенка была душевно-больная. Я хорошо помню, как

года два тому назад родители постоянно говорили: «Бедная Анна. В три дня потеряла ребенка». И я, думая, что она его действительно потеряла, раз и спросила, нашелся ли он. Я ведь думала, что он потерялся в лесу, потому что вокруг Хайнфельда так много лесов, и с тех пор я терпеть не могу, когда говорят «потеряла» вместо «умер», потому что непонятно, что под этим подразумевается. Восьмого апреля начинаются пасхальные каникулы, и одиннадцатого, в страстной четверг, мы уезжаем.

6 апреля. Не знаю, как быть с дневником. Взять его с собой мне бы собственно не хотелось, а все запомнить и записать потом — знаю, что не удастся. Гелла думает, что я должна записать в Хайнфельде все «характерное», как говорит г-жа М., а когда вернусь, то написать все по-настоящему. Она тоже так сделает. Они ведь тоже уезжают на Брионские острова. Я еще никогда не была на море, но Гелла не находит в нем большой прелести. Она уже четыре раза там была. Но она не в таком упоении, как все остальные, значит, не так уж это удивительно. Я тоже думаю, что там порядочная скука.

12 апреля. Вчера приехала Ада; очень мила, а мальчики ужасно грубые; Эрнст говорит Аде:

— Я тебе влеплю в ж..., если ты моментально не отдашь мне револьвера.

Ада одного роста со своей мамой. Они все говорят немножко по-крестьянски. Даже господин доктор. Он ужасно много пьет пива, кажется, восемь литров в день.

14 апреля. Сегодня приехал папа. Он ужасно любит доктора. Они поделовались. Я страшно смеялась. Утром мы были в лесу. Фиалок еще нет, только немного подснежников, зато ужасно много чемерицы, совсем красной.

15 апреля. В четыре часа была пасхальная служба. В самую церковь мы не входили, так как мама боялась, что Доре станет дурно от запаха ладана и сапог. Вот фокусы! Было очень красиво. Сегодня днем едем в Рамзау. Там чудесно.

16 апреля. Сегодня уехал папа. Завтра едем мы. На троицу мама поведет Аду на конфирмацию. Тогда они все приедут к нам. В Рамзау я застряла в болоте. Это отвратительно. Но доктор меня вытащил. Потом мы ужасно смеялись над тем, какой вид имели мои сапоги и чулки. К счастью, я удержалась за пень, а то бы утонула.

18 апреля. Гелла говорит, что на Брионских островах было чудесно. Она совсем коричневая. Но я это не очень люблю и потому никогда в жизни не поеду на Юг. Гелла говорит, что если женятся зимою, то свадебное путешествие непременно устраивают на Юг. Но я на это смотрю иначе, просто отложу свадьбу до лета. Аде только тринадцать лет, а не четырнадцать, как Доре, но священник очень сердится на то, что она до сих пор не конфирмована. Теперь мама поведет ее на конфирмацию. Нас не конфирмуют оттого, что родители не хотят никого просить. Но я бы хотела конфирмоваться, тогда уж обязательно получишь часы и на рождество можно просить что-нибудь другое.

21 апреля. Нам приходится безумно много учиться, потому что скоро приедет окружной инспектор. Это всегда очень неприятно. Правда, г-жа М. говорит: «инспекция касается педагогического персонала, а не ученика», но и ученикам также жутко. Во-первых, осрамишься, а во-вторых, учителя после поднимут историю. Дора говорит, что неудачная инспекция может на два разряда понизить четверть.

Кстати, я еще не написала, отчего Освальд не был с нами на пасху. Ему позволили, хотя отметки у него отнюдь не хорошие, поехать в Полу к тете Альме, потому что Рихард нынче в последний раз приезжает на каникулы. Потом он уезжает на пароходе на Восток, в Турцию или в Персию, он еще не знает наверное, куда именно. Если Освальд захочет, то через два года он тоже поступит во флот.

9 мая. Сегодня был окружной инспектор. Сначала на естественной истории, тут меня, слава богу, не вызывали; а потом — на немецком: тут меня вызвали для чтения и пересказа «Блуждающего Колокола». Слава богу, все знала.

14 мая. Сегодня мамино рождение. У нас совершенно не было времени ей что-нибудь сработать; поэтому мы купили удивительную электрическую лампу для ночного столика: колпак в виде свешивающейся кисти винограда, а подставка из желтой меди. Она очень обрадовалась. Вчера была у нас г-жа фон-Р. Она приятельница мамы, и Геллиной мамы тоже. Мне бы очень хотелось брать у г-жи фон-Р. уроки музыки, она ведь их дает после смерти своего мужа, майора, хотя она и богатая.

16 мая. То, что говорят про инспекцию, повидимому верно; сегодня, во время перемены, профессор Никкель-Еж говорил профессору богословия:

— Ну, он еще эту неделю походит, а потом мы на целый год успокоимся.

Мы—это, конечно, учителя. Но учителя действительно не при чем, если ученики ничего не знают. Освальд, правда, говорит, что это всецело их вина. Я тоже буду рада, когда окончится инспекция. Учителя совсем другие при господине инспекторе: кто добрее, кто строже,

а м-ше А. говорит, что ей просто дурно делается от страха.

29 мая. На троицу приезжала из Хайнфельда г-жа Хаслингер с Адой и двумя мальчиками для конфирмации. В воскресенье приехал и г-н доктор, а вечером они все уехали. Ада очень красивая, но все-таки у нее деревенский вид. Я ни за что не буду конфирмоваться. Мы прождали три часа, но все-таки пятница перед троицей очень хороший день. Доры с нами не было, ходила только мама со мной и Ада со своей мамой. Все хоругвеносицы думали, что я тоже конфирмантка, потому что я тоже была в белом. Это Аду немного раздосадовало. В субботу мы утром и днем ходили в город. Это было Аде приятнее, чем идти на Каленберг. В воскресенье утром ездили в Шенбрунн, а после обеда они уже уехали. Ада получила очень хорошие часы, а от меня с Дорой, кроме того, золотую шейную цепочку. Она очень радовалась. Только в воскресенье днем у нее ужасно болела голова; это оттого, что она не привыкла к городскому шуму.

31 мая. Ада тоже уже многое знает, но еще не все. Кое-что я ей рассказала. Этой зимой одна девушка в Х. бросилась в воду, потому что у нее должен был родиться ребенок. Все были очень взволнованы, и тогда ее мама ей кое-что рассказала, но не все. Раз Ада видела, как у собаки родились щенки, но маме своей она этого не рассказала, потому что она, вероятно, на нее бы рассердилась. Но она не виновата: собака принадлежала господину, который живет рядом, и она все это увидела в сенях. Ада ожидает этого со дня на день, потому что ей скоро будет четырнадцать лет. У каждой большой девочки в Х. есть поклонник. Ада говорит, что, как только ей

исполнится четырнадцать лет, у нее тоже будет поклонник, — она уже знает кто.

3 июня. Сегодня пришло письмо от Ады; маму она благодарит за конфирмацию, а мне написала отдельно. Это, собственно, странно, что она подружилась не с Дорой, а со мной, но я думаю, что Дора не говорит о таких вещах, разве только со своими подругами в лицее, особенно с Фридой Эртль. Поэтому Ада и подружилась со мной, хотя я ровню на два года моложе ее. Она, правда, славная девочка.

19 июня. У нас в классе беспрестанно что-нибудь пропадает: сначала галоши Флейшер, потом мои новые перчатки, уже три раза пропадали деньги и сегодня пропала новая сумочка фрейлейн Штейнер. Произвели настоящее расследование, но ничего не узнали; мы все думаем, что это Шмолька. Но никто не хочет этого сказать. За уроком мы сегодня ничего не слушали, особенно тогда, когда в половине двенадцатого Ш. вышла из класса.

20 июня. В нашем клозете уборщица нашла оторвавшиеся бисеринки, но так как она ничего не знала, то бросила их в мусор. Неужели, действительно, Ш? Это было бы ужасно подло. Фрейлейн Шт. очень взволнована, потому что сумочку она получила на рождение от своего жениха и в ней лежала его фотография. В сущности, мне все-таки жаль Ш. Никто с ней не разговаривает, хотя это еще совсем не доказано. Она ужасно бледная и у нее все время на глазах слезы. И Гелла тоже думает, что может быть это и не она, потому что она одна из любимиц фрейлейн Шт. и сама ее очень любит. Она всегда носит ей домой тетради.

22 июня. Наш клозет закупорился, и сторож, осматривавший его, нашел в нем сумочку, но фрейлейн Шт. от

этого не легче—носить ее она, конечно, не может. За всеми уроками мы только взглянем друг на друга, начинаем смеяться, а учителя страшно сердились. Только г-жа М. сказала:

— Пожалуйста, высмейтесь до конца по поводу этой, во всех отношениях не аппетитной, истории, а затем—баста.

23 июня. Сегодня был скандал. Вербенович собирала немецкие тетради, и когда Ш. хотела подать ей свою тетрадь, сказала:

— Я не желаю иметь (тут она сделала длинную паузу) с вами никакого дела.

Мы все ужаснулись, а Ш. стала белая, как стена. В десять часов она попросилась домой, потому что ей нехорошо; завтра, наверное, придет ее мама.

24 июня. Мама Ш. не приходила. Вербенович говорит:

— Ну, конечно.

Ш. тоже не пришла.

Гелла говорит, что она не могла бы жить с таким клеймом, бросилась бы в воду. Но ведь в воду бросаются, собственно, по другим причинам. Я бы еказала все папе, чтобы он сам сходил бы в школу. Франке говорит:

— Да, все это прекрасно, потому что вы ничего такого не сделали. А та, которая сделала, дома ничего и сказать не смеет. А кроме того, отец Ш. тяжело больной—он разбит параличом: два года уже лежит в постели и не говорит.

27 июня. Сегодня Гелла и я шли вместе с г-жей М. Вообще она ни с кем не ходит, но Гелла вдруг убежала от меня прямо к ней и сказала:

— Простите, пожалуйста, г-жа М., что я вас беспокою на улице, но мы должны с вами поговорить.

Она при этом была вся красная, г-жа М. сказала:

— А в чем дело?

И Гелла ответила:

— Нельзя ли разобрать, кто украл сумочку. Если это не Ш., то ей до смерти оскорбительно то, как с ней обращаются дети, а если это она, то мы не можем терпеть ее в нашей среде.

Гелла была прямо изумительна, и г-жа М. заставила нас себе все рассказать, также и про Вербенович, с тетрадами; мы ясно видели, что у нее были слезы на глазах. Она сказала:

— Бедный ребенок; дети, я помогу вам, обещаю это.

Мы обе поцеловали ей руку, и сердце у меня билось даже в горле. А Гелла сказала:

— Вы—ангел.

А у меня никогда ничего такого не выходит.

28 июня. Сегодня Ш. пришла, но г-жа М. ничего не сказала. Мы, Гелла и я, все время на нее глядели, и Гелла три раза поперхнулась, и тогда г-жа М. сказала:

— Брукнер, перестань кашлять, а то твоему горлу станет еще хуже.

Но мне показалось, что она нам мигнула. Значит, она не забыла. Я хотела поговорить с Ш., но Гелла сказала:

— Подожди еще, нельзя забегать вперед; г-жа М. все взяла в свои руки.

Завтра, около девяти часов, мы будем ходить взад и вперед перед ее домом, пока она не выйдет.

30 июня. Вчера, к сожалению, был праздник, а сегодня урок г-жи М. начинался только в одиннадцать часов. Но она уже переговорила с Ш., только мы не знаем, где и когда; наверное, не на перемене, а во время урока Ш. не вызывали из класса.

1 июля. Сегодня мы шли с ней. Боже, какая она прелесть!

— Милые дети, — сказала она, — это очень грустная история, в которой невозможно разобраться. Ш. упорно уверяет, что это не она. И видите ли, дети, она ли это сделала, или нет, — все равно, эти дни неизгладимо врежутся ей в душу.

Гелла попросила:

— Пожалуйста, г-жа М., дайте нам совет: что нам делать, говорить с ней или нет?

Она сказала:

— Дети, я думаю, что после этого она в будущем году к нам больше ходить не будет. Вы сделаете доброе дело, если напоследок облегчите ей эти дни. Близки ведь вы никогда не были, но два-три дружеских слова могут ее поддержать, а вы обе имеете большое влияние в классе, ваш пример подействует.

Мы шли с ней до самой школы и оттого не могли поцеловать ей руку, но Гелла сказала совсем громко:

— Господи, вот прелесть.

Она наверное слышала. Но Ш. сегодня не пришла. Папа говорит, что он очень радуется окончанию занятий, потому что я совсем с ума сошла из-за этой истории. Но все-таки он стоит за то, чтобы Гелла и я заговорили с Ш. Мама тоже. Только Дора сказала:

— Да, это правильно, — но довольно сдержанно.

5 июля. Ш. в школу больше не приходила. Завтра получим отметки.

6 июля. Мы ужасно плакали, — я, Гелла и Вербенович, — оттого, что почти три месяца не увидим г-жу М. У меня только по истории и по естественной истории четверки, все остальное пять. Франке говорит:

— Кто профессору Ежу не по вкусу, тот может учиться до одурения и все-таки не получит пятерки.

Папа очень доволен. У Доры, понятно, круглое пять, а у Геллы три четверки. У Лиззи, кажется, тоже три или четыре. Папа подарил нам, каждой, по две кроны и сказал, что мы можем их растратить. От мамы получили кружевные воротники.

9 июля. Мы поедем в Хайнфельд. Это чудесно. Я заранее радуюсь; но уедем только двадцатого, потому что раньше у папы не будет отпуска, а мама не любит так надолго оставлять папу одного. Только, к сожалению, Гелла уже уехала сегодня утром в Парш, близ Зальцбурга; слово это такое неприятное, что Гелла очень стесняется его произносить; как можно называть местность таким безобразным именем! Они сняли там целую виллу.

12 июля. Ужасно скучно. Почти каждый день ссорюсь с Дорой, потому что она так много о себе воображает. Вчера приехал Освальд. Он страшный франт, почти такой же высокий, как папа, то есть на четверть головы ниже, но ведь папа гигантского роста. И у него уже совсем низкий голос; раньше этого не было. Волосы он разделил на косой пробор, это ему очень идет. Он уверяет, что у него уже растут усы, но это неправда; ведь их было бы видно, пять волосков—ведь еще не усы.

19 июля. Слава богу, после завтра, наконец, едем. Папа хотел, чтобы мама с нами поехала вперед, но она не захотела. А, в сущности, это было бы хорошо.

24 июля. Мы живем через три дома от Х. Мы с Адой целый день вместе. И случайно одна из товаров Доры, которая ей нравится, Роза Тиловская, тоже здесь. Освальд говорит, что в Хайнфельде скучно до одурения. Он хочет напроситься гостить к кому-нибудь из приятелей. Здесь на все каникулы он ни в каком случае не останется. Про Аду он говорит: «Сельская простота». Если бы он знал,

как много она знает. А Розу Т. он называет «веснушчатым составом», потому что у нее есть две или три веснушки. Вообще Освальд в каждом что-нибудь да подденет. Про Дору он говорит: «Она—зеленая лягушка», потому что она всегда такая бледная и у нее холодные руки. А про меня: «Тут вообще ничего нельзя сказать, это еще не зрелый эмбрион».

Слава богу, что я уже знаю из естественной истории, что такое эмбрион, то-есть маленькая лягушка. Я безумно рассердилась и тогда папа сказал:

— Утешься, он тоже еще далеко не мужчина, а то он был бы вежливее по отношению к своим сестрам и их приятельницам.

Это его очень рассердило и с тех пор он не разговаривает, когда Ада и Роза с нами. Скоро будет мое рождение; мне, слава богу, будет двенадцать лет, потом еще два года — и мне будет четырнадцать. Это меня ужасно радует. Сегодня получила второе письмо от Геллы. В августе она едет в Венгрию к своему дяде, у него большое имение, и она будет там учиться ездить верхом.

ВТОРОЙ ГОД

(От 12 до 13 лет)

1 августа. На мое рождение было страшно весело. Мы поехали в коляске в Гласхютте, там очень красиво. Там мы сами готовили, потому что хозяйка была больна и кухарка тоже. В рождение все относятся так мило. Больше всего меня радует ящик с красками от Эбезедер и книга, но, к сожалению, совсем не приходится читать. Гелла прислала мне прелестную картинку «Материнское счастье» — такса с двумя щенятами, — очаровательную. Дома я повешу ее возле двери над этажеркой. А от Ады я получила шелковый кошелек, который она мне сама сработала. А от тети Доры дневник, но его я, собственно, не могу употреблять, потому что больше люблю писать на отдельных листках. Дедушка и бабушка из Б. прислали марципановый торт, чудесный. Ада находит его божественным; она ведь его никогда не пробовала.

9 августа. Этот учебный год Ада пробыла в Ст.-Пельтене у своих тети и дяди, потому что школы в Х. хуже, чем в Ст.-Пельтене. Теперь она, может быть, приедет в Вену, потому что городскую школу она уже окончила и должна учиться дальше. Но у них нет в Вене таких

близких родственников, у которых она могла бы жить. Собственно, она отлично могла бы жить у нас. Доре отдали бы кабинет, чего ей давно хочется, а мы с Адой были бы в спальне. Мне, разумеется, она была бы гораздо более приятной сожительницей, чем Дора с ее фокусами.

10 августа. Это просто изумительно: такой мальчишка и устраивает все, как ему угодно. Освальд действительно уезжает на четырнадцать дней в Цнау к своему лучшему другу и, конечно, один. Посмотрела бы я, как Дора или я пожелали бы куда-нибудь поехать. А ему можно; и больше всего меня сердит несправедливость, потому что у него плохие отметки, — это мы знаем наверное, хотя он этого и не говорит. Нам учитывается каждая четверка, а он, при многих удовлетворительных, может разъезжать, куда ему угодно. И потом этот лучший друг: он совсем недавно знаком с Максом Розни и это называется дружбой. Гелла и я дружны еще со второго класса народной школы, а Дора и Фрида Эртль — с лицей. Уж про дружбу мы с Дорой основательно ему наговорили. Он язвительно усмехнулся и сказал:

— Да, да, это уж так: мужская дружба крепнет с годами, а ваши девичьи дружбы переходят в злейшую вражду, как только появляется первый поклонник.

— Это дерзость. Вообще мы с Геллой непременно подождем друг друга со свадьбой, потому что хотим венчаться в один и тот же день. Невестой станет, вероятно, одна из нас раньше, но со свадьбой должна подождать. Это просто дружеский долг.

12 августа. Вчера Освальд уехал и перед самым отъездом была еще ссора, потому что он требовал, чтобы одна из нас проводила его на вокзал и помогла нести ручной багаж. Точно мы его прислуга. Ада хотела

предложить свои услуги, но Дора сделала ей знак, который она, к счастью, поняла. Дора иногда, но только иногда, делается похожей на Геллу, когда она чем-нибудь возмущена. Она говорит, что без Освальда гораздо лучше, а то всегда выходят ссоры. А, в сущности, это оттого, что при нем она проигрывает, он ведь гораздо умнее ее. И когда он хочет ее уж очень разозлить, он говорит по-латыни что-нибудь такое, чего она не понимает. Я думаю, что она оттого и латыни учится. Вот уж не стала бы я из-за этого мучиться. Очень нужно!

15 августа. Сегодня отправила Гелле посылку — цепочку для часов из серебряной проволоки; я ее сделала в четыре дня. Надеюсь, что она не пропадет. В Венгрии в этом нельзя быть уверенной.

17 августа. У нас безумно много дела с лампонами и хвойными гирляндами. Все почетные жители украшают свои дома. При этом Ада мне кое-что рассказала. Она знает больше Геллы и меня, от своего отца, потому что он ведь врач, многое он рассказывает ее маме, и Ада иногда слышит, хотя обычно они перестают говорить, когда она входит. Ада непременно хочет стать актрисой. Об этом я еще никогда не думала, хотя я уже часто бываю в театре.

22 августа. Гелла страшно обрадовалась цепочке, она ее носит; она действительно учится верховой езде у своего двоюродного брата; к сожалению, его зовут Лайос. Но «Людвиг» тоже не лучше. Он, говорят, ужасно милый и элегантный. К сожалению, ему уже двадцать два года.

25 августа. Ада страшно мечтает о театре. В Ст.-Пельтене она часто бывала в театре и была влюблена в нового актера, в которого влюблены все дамы в Ст.-Пельтене. Оттого она хочет идти на сцену и еще оттого,

что хочет жить свободно и независимо. Поэтому ей так хочется переехать в Вену. Если бы только она могла жить у нас! Она говорит, что томится в такой глухой дыре, как Х., она не выносит узких рамок. В Ст.-Пельтене она все свои карманные деньги тратила на цветы для него. Она говорила, что в школе требуют так много тетрадей и других вещей. Это возможно, когда не живешь дома; мама не так легко догадается. У нас бы это не прошло. Карманных денег и без того не хватает, а тетради родители могут каждый месяц проверять. Я бы охотно уехала из дому месяца на два. Ада говорит, что это очень полезно, тут только и можно узнать свет. Дома только вязнешь и глупеешь. Когда она так говорит, у нее действительно вид актрисы, и талант у нее наверное есть. Это говорит и учитель немецкого языка у них в школе. Она всегда декламировала самые длинные стихотворения, и дети всегда просили учителя позволить ей читать.

30 августа. Сегодня Ада декламировала стихотворение Гебеля «Смерть Тиберия», действительно великолепно; она прирожденная актриса и это ужасно, что она не может учиться. Ей придется стать учительницей французского языка или рукоделия. Но она говорит, что все-таки пойдет на сцену; может быть это ей и удастся.

31 августа. Хороши четырнадцать дней Освальда! Он все еще не вернулся и ему позволили остаться до четвертого сентября. Что если бы Дора или я были на его месте. Давно был бы убийственный скандал. Насильно брать то, в чем нам отказывает свет.

5 сентября. Недавно в лесу я обещала Аде, что попрошу маму позволить ей жить у нас, чтобы она могла учиться у какого-нибудь актера. Сегодня я просила маму,

но она сказала, что это совершенно невозможно. Родители Ады не могут платить за ее учение. Когда есть талант, то учиться этому, в сущности, можно самой и нужно только поступить в театральную школу, потому что оттуда легче попасть в хороший театр, говорит Ада. Значит, очень дорого это и не стоило бы. Мне ужасно жаль Аду.

10 сентября. Боже, в каком мы волнении. Я должна дать для укладки свой дневник, так как завтра мы уезжаем. Но надо еще скорее кое-что записать. Дня три тому назад сюда пришли цыгане, и вчера одна из цыганок пришла через заднюю калитку в сад и гадала нам по руке, то-есть мне, Аде и Доре. Мы этому не верим, но Аде она предсказала великую, хотя и короткую будущность, после долгой и трудной борьбы. Это ведь совсем подходяще. Зато со мной она совсем осрамилась: когда я стану вдвое старше, чем сейчас, мне предстоит большое счастье, большая любовь и большое богатство. Это, конечно, значит, что я выйду замуж в двадцать четыре года. В двадцать четыре года! Это просто смешно! Дора говорит, что я на вид моложе моих двенадцати лет и потому она хотела сказать, что это будет в двадцать или даже в восемнадцать лет. Это также смешно, потому что даже доктор Х., который ведь врач и знает множество детей, говорит: я по развитию выше своих лет. Так что не может старая цыганка думать, что мне десять или даже девять лет. Доре она предсказала, что через немного лет ее судьба повернется в печальную, а потом в радостную сторону. Аде она сказала еще, что линия ее жизни изломанная.

14 сентября. Сегодня рано утром уехал Освальд; папа расцеловал его в обе щеки и сказал, чтобы он, ради

бога, последний год продержался молодцом. Он должен сдать на аттестат зрелости; это, конечно, страшно трудно. Но он говорит, что при должном нахальстве проскочить можно. Нахальство иногда бывает полезнее всякой зубрежки и долбежки. Это правда, я это по себе знаю. Но, к сожалению, я в нужную минуту никогда не могу найтись. А потом часто соображаю, что нужно было сказать и то и это. Я всегда восхищаюсь этим в Гелле; и Франке тоже, которая, собственно, не очень умна, всегда умеет ответить так, что ей удастся выкрутиться. Если хоть половина того, что рассказывает Освальд о своих ответах профессорам, правда, то удивительно, как его не выгоняют из всех гимназий, говорит мама. Освальд говорит: «Если все ловко устроить, никогда не попадешься». Ну, это тоже не всегда верно.

16 сентября. Сегодня приезжает Гелла. Поэтому я пишу утром, так как днем она к нам придет. Я ужасно радуюсь. Я просила маму купить торт пралине — Гелла его очень любит, и я тоже.

20 сентября. Всего несколько слов. Сегодня начались занятия в школе. Слава богу, заведующая классом у нас опять г-жа М. Фрейлейн Шт. теперь тоже доктор; в конце учебных занятий она выдержала экзамен на доктора. Затем, по истории у нас новая докторша; мы еще не знаем, как ее зовут. Фишер на каникулах вышла замуж!!! Лопнуть можно от смеха!!! Дора говорит, что не желала бы быть ее мужем; вероятно, он с ней скоро разведется. Вообще, женщина в очках... я еще понимаю — пенсия, его можно снимать, но очки... Дора тоже не понимает, как можно жениться на женщине в очках, а Гелла часто говорит, что ее тошнит, когда Фишер поблескивает своими очками. По естественной истории

у нас новый профессор. Я страшно рада, что у нас три доктора и один, то-есть даже два профессора, ведь по богословию тоже профессор. У третьих только один доктор, это их сердит. У Доры два доктора и три профессора.

25 сентября. Все дети влюблены в профессора Вильке— он преподает естественную историю. Сегодня Гелла и я всю дорогу шли за ним следом. Он дивный, такой высокий, что чуть не задевает лампу, когда быстро поднимается с места; чудесная борода, белокурая, а когда на нее падает солнечный свет, точно огонь; солнечный бог. Мы его поэтому называем С. Б.; никто не знает, что это значит и кого мы подразумеваем.

25 сентября. Ш. действительно больше не ходит; вероятно из-за сумочки фрейлейн Шт. Вообще несколько детей выбыло, зато поступили другие, но они не нравятся ни мне, ни Гелле.

1 октября. Сегодня меня вызывали по естественной истории. Я безумно училась, а он был божественный. Мы весь семестр будем подавать ему рисунки и зверей. Чудно! Я и Гелла носим всегда одинаковые косоплетки и бумагу на стол во время естественной истории кладем того же цвета. Он хочет, чтобы мы вели записки, собственные наблюдения над природой. Мы обернули их в лиловую бумагу, точно такого же цвета, как его галстук. По вторникам и пятницам мы для всех приготовлений должны приходить в школу к половине девятого. Боже мой, как я счастлива.

9 октября. Оказывается, он кузен нашего учителя гимнастики. Чудесно! Дело было так: мы, то-есть я и Гелла, нарочно проходим всегда мимо кафе Зика, потому что он там вечно сидит. И вот, когда в четверг мы

возвращались с урока гимнастики, мы вдруг видим, что учитель гимнастики сидит с ним. Мы, конечно, поклонились ему, а на следующем уроке гимнастики учитель Бар нам говорит:

— Ага! это значит, мой кузен мучает и терзает вас уроками естественной истории?

— Терзает? — возражаем мы обе. — О нет, это самый лучший урок за всю неделю!

— Вот как? — говорит он. — Ну, я это в точности передам...

Разумеется, мы стали умолять его не выдавать нас; это было бы ужасно. Надо надеяться, что он нас не выдаст!

20 октября. Скончалась мама г-жи Штейнер. Нам ее страшно жаль. Некоторые из наших идут на похороны; мне нельзя, мама находит, что это не годится, и Геллу тоже не пускают. Пойдет ли он? Наверно, он ведь, в сущности, обязан идти.

23 октября. Г-жа Штейнер выглядит ужасно бледной. Франке говорит, что теперь она наверно выйдет скоро замуж, потому что у нее больше нет родителей. Ее жених часто заходит за ней в школу, то-есть он поджидает ее на Л... улице. Гелле он безумно нравится; ясно, потому, что он офицер. Мне он не нравится! по мне он слишком мал ростом и слишком толст. Он лишь на маленький кусочек выше, чем фрейлейн Штейнер. Мне нравится, когда муж почти на целую голову выше своей жены, или хоть на пол-головы, вот как папа с мамой...

29 октября. Мы так много учимся, что нынче не удалось взять сезонной карточки, а приходится платить каждый раз, когда мы идем на каток. Если бы мы только знали, катается ли он на коньках и где именно? Гелла

думает, что мы сможем, как-нибудь осторожно, узнать это у его кузена во время урока гимнастики. Они очень часто бывают вместе в кафе. Мне хотелось бы знать, о чем они там говорят, потому что они вечно смеются. Особенно, когда мы проходим мимо.

31 октября. Мне написала Ада. Она очень несчастна. Она опять в высшей школе в П. Но актера уже там нет. Она пишет, что стремится вырваться из цепей, которые сковывают ее душу. Бедняжка! Никто не может ей помочь. Впрочем, ее мама могла бы ей помочь, да она не хочет. Это, должно быть, ужасно. Гелла думает, что родители до тех пор не будут пускать ее на сцену, пока она чего-нибудь не сделает над собой; тогда ей уступят. И правда, чем матери лучше от сознания, что Ада так ужасно несчастна? Да и почему ей не поступить на сцену, когда у нее такой огромный талант? Когда она в школе декламировала, все учительницы и учителя страшно хвалили ее, и один из них прямо сказал, что у нее настоящий драматический талант. А учителя-то ведь не льстят, кроме... Но, во-первых, он и не обыкновенный учитель, а профессор, а во-вторых, он совсем, совсем не такой, как другие. Когда он поглаживает свою бороду, то у меня от блаженства то мороз по коже пробегает, то в жар бросает. А как он удивительно приподнимает полы сюртука, когда садится. Восхитительно, расцеловать можно! Гелла и я попеременно кладем ему свою вставочку, чтобы своим прикосновением к ней он освятил ее. И когда потом, за уроком математики, я пишу ей, то постоянно гляжу на Геллу, а она на меня, и каждая из нас знает, о чем думает другая.

28 ноября. Сегодня мама была в школе и заходила к С. Г. Я свела ее к нему, и он был обворожителен. Он

сказал: «Я очень доволен вашей дочерью; она очень внимательна и способна», — при этом он перелистывал журнал, как будто хотел в нем что-то найти. Но, конечно, о каждой из нас он знает и так. То-есть нет, не о каждой. Этого от него нельзя и требовать при таком количестве учениц; кроме того, он еще преподает и в реальном училище, где такая масса мальчишек.

5 декабря. Сегодня я видела на катке «Золотую Фею». Она очень мила, но я не нашла ее такой красивой, какой она мне казалась в прошлом году. Гелла говорит, что она не понимает, где были тогда мои глаза.

— Ты просто была слепо влюблена и не заметила даже, что у нее положительно «богемский» нос, — уверяет Гелла. Но это, конечно, неправда, просто у меня теперь совсем другой вкус. Все же я ей поклонилась, и она была очень мила. Она становится прелестной, когда говорит; кроме того, золотые пломбы, по-моему, страшно элегантны. У г-жи М. тоже две пломбы, и когда она смеется, то это просто упоительно.

8 декабря. Дора могла бы сократиться со своими глупыми остротами. Сегодня, когда пришли все Трабиши и заговорили о школе, она вдруг заявляет:

— О, Гретель каждый год обожает кого-нибудь другого; в прошлом году г-жу Мальбург, а в этом — профессора Вильке. Теперь уже г-жа Мальбург больше не в милости!..

Захотела бы, так и я могла бы кое-что сказать о двух студентах на катке. Но я не такая, только взглянула на нее с презрением и толкнула под столом. А она, такая нахалка, еще спрашивает:

— Что такое? Ага, нельзя выдавать такие интимные сердечные тайны? Ну, ничего, Гретель, в твоём возрасте никто этого не принимает всерьёз.

Но за то и ей по делом попало: г-жа фон-Т. и папа громко рассмеялись, и г-жа фон-Т. сказала:

— Ах ты, бабушка, не заметила ли ты уже в зеркале твоих седых волос?

Я безумно расхохоталась, а она так сконфузилась, что вся покраснела, а вечером заявила мне, что я дерзкий воробей.

9 декабря. Боже, какой ужас. Геллу отвезли сегодня в два часа дня в лечебницу Лё и сделали ей немедленно операцию. Операцию слепой кишки. Только-что телефонировала ее мама, что все обошлось благополучно. Но профессора сказали, что еще два часа — и было бы поздно. Пишу, а у меня дрожат колени и руки. Она еще под наркозом.

10 декабря. Гелла ужасно слаба; к ней не пускают никого, кроме папы и мамы, даже Лиззи не пускают. А на Николу мы еще так веселились и столько съели сладостей, что даже во рту совсем кисло было. Но не от этого же у нея могло сделаться воспаление слепой кишки. В понедельник вечером, когда мы возвращались с урока гимнастики, она вдруг заявила, что ей нехорошо, а вчера ночью у нее сделался озноб. Утром доктор велел ее немедленно отправить в лечебницу для операции.

11 декабря. В школе все дети страшно взволнованы из-за Геллы и г-жа Шт. была так добра, что отсрочила классную работу по математике на следующий вторник. В воскресенье я пойду к Гелле. Она очень тоскует по мне, а я по ней.

12 декабря. Она все еще ужасно слаба и ей ничего не хочется; я послала ей с ее мамой розы и фиалки, которые ее очень обрадовали.

14 декабря. Сегодня от двух до трех с половиной часов я была у Геллы. Она совсем бледненькая и, когда я вошла, мы страшно расплакались. Я опять принесла ей цветы и сейчас же рассказала, что профессор В. каждый раз, как видит меня, спрашивает о ней. И остальные учителя тоже, особенно г-жа М. И подруги тоже, все стремятся ее навестить, но ее мама пока не позволяет. Человек выглядит совсем иначе, чем обыкновенно, когда лежит в постели, совсем чужим. Я это высказала Гелле, и она сказала:

— Мы никогда не сможем стать друг другу чужими. Даже после смерти. Тогда я опять ужасно расплакалась, и наши обе матери заявили, что мне пора уходить, потому что это слишком волнует Геллу.

15 декабря. Сегодня я опять была у Геллы. Она сунула мне записочку, в которой просит меня вынуть из ее ящика и принести ей пакет с бюваром для отца и корзиночку для ключей для матери, а то подарки не успеют к рождеству.

18 декабря. У Брукнеров все в отчаянии; действительно, какое же это рождество, если Гелле придется провести сочельник в лечебнице. Со вчерашнего дня ей опять как будто хуже, врачи не понимают, почему у нее внезапно поднялась температура. Потому что она не призналась им, что поела принесенных мною пралинэ, которых ей так хотелось. Но я теперь так боюсь, как бы не пришлось делать ей вторую операцию.

19 декабря. Сегодня я сразу после школы отправилась к Гелле, потому что от волнения не могла спать всю ночь. Слава богу, ей опять лучше. Один из врачей сказал, что если бы за ней был частный уход, он приписал бы ухудшение ее здоровья какому-нибудь упущению

в диете; но в лечебнице этого не могло быть. Стало-быть это действительно было от пралинэ и от марципана. Гелла думает, что это скорее всего от марципана, потому что куски были большие, по двадцать геллеров, и потому, что миндаль трудно переваривается. Оказывается, у нея болел желудок в то время, когда я была еще там, но ей не хотелось говорить, так как она считала себя виноватой, выпросив у меня сладости. Теперь пусть просит, сколько угодно, я все равно ничего не принесу, кроме цветов, которые ей не могут повредить. Хотя, впрочем, кто знает? Если правда «Месть цветов»? Но вряд-ли это так, да и я не принесу каких-нибудь ядовитых цветов.

20 декабря. Как я рада, послезавтра или во вторник Гелле позволено вернуться домой, чтобы хоть к самой елке быть среди своих! Теперь я знаю, что ей подарить! Кресло для лежания. Папа уже позволил; ведь у меня не хватит на это своих денег, но папа обещал дать столько, сколько нужно. Папа мой—прелесть! Завтра мы пойдем с ним покупать.

21 декабря. Сегодня я только на минутку заходила к Гелле, потому что папа скоро зашел за мной. Сперва она немножко обиделась, но потом сообразила, что тут кроется какая-то важная причина и сказала:

— Только ничего не надо марципанного.

И этим она чуть-чуть не выдала нас обеих. Папа спросил меня на улице:

— Почему Гелла заговорила про марципан?

Но я быстро ответила:

— У нее ужасное отвращение ко всему сладкому со времени ее болезни.

Слава богу, папа ничего не заметил. Но мне всегда неприятно, когда приходится его обманывать. Во-первых,

мне всегда кажется, что он все понял, а во-вторых, просто не хочется ему лгать. — Кресло великолепное, с турецким рисунком и кистями у валиков. Папа хотел целиком за него заплатить, но я заявила:

— Нет, тогда это не будет подарком от меня. А теперь я заплатила пять крон, а он тридцать семь. Завтра его пошлют к Брукнерам.

22 декабря. Итак, завтра Гелла возвращается. Она уже вставала не надолго, но так еще слаба, что идя должна опираться на кого-нибудь. Она счастлива, что возвращается домой, и уверяет, что пока находишься в лечебнице, все кажется, что умрешь. Пожалуй, она права. Когда я первый раз была у нее, то с трудом удерживала на лестнице слезы. И потом мы еще обе горько плакали. Ее мама уже знает о кресле, но его еще не послали. Только бы они в магазине не позабыли.

23 декабря. Сегодня Гелла вернулась домой. Ее отец нес ее по лестнице, а я держала ее за руку. И соседи вышли к ней и поздравили ее, а старый надворный советник, из второго этажа, с женой послали ей чудный куст сирени. Но она так устала, что в пять часов я должна была уже уйти, чтобы дать ей отдохнуть. Завтра я буду сперва на елке у них, а потом дома. У Бр. елку зажгут из-за Геллы уже в пять часов, а у нас, как всегда, — в семь.

26 декабря. Вчера и позавчера я абсолютно не могла писать. Было чудесно и у нас и у Геллы. Не буду перечислять то, что получила, во-первых, потому что нет времени, а во-вторых, потому, что я это и так знаю. Гелла безумно обрадовалась креслу. Отец внес ее в комнату и положил на кресло. А ее мама плакала. Это было так умилительно. Какой восторг пройти через тяжелую болезнь

и быть общим центром, о котором все заботятся. Но за Геллу я рада. Она так прелестна. Вчера я провела у них весь день, и после обеда, когда ей нужно было прилечь, она сказала:

— Открой-ка там ящик у письменного стола, нижний справа, там лежит мой дневник; если хочешь, почитай его.

Этого я никогда не забуду. Мы, в сущности, условились, что будем читать друг другу наши дневники, но до сих пор мы этого не делали; все-таки немного стесняешься друг перед другом и, главное, через некоторое время уже не помнишь, что перед этим написала. И так она пишет всегда очень сжато, самое большее пол-страницы, но как!

Самое важное. Разумеется, она не могла заснуть, и я должна была читать ей вслух выдержки из ее дневника, в особенности то, что было написано во время каникул, которые она обыкновенно проводит в Венгрии. Там перед ней преклоняются. Два кадета и ее два кузена. В некоторых местах мы так хохотали, что у Геллы все разболелось, и я должна была прекратить чтение.

29 декабря. Вчера мы безумно обозлились. Дело было так: мы обе уже давным-давно не играем в куклы и тому подобное, но, роясь в вещах Геллы, я наткнулась на кукольные вещи; они лежат совсем внизу, и Гелла на них не обращает никакого внимания. Я вынула маленькую парижскую куклу, а Гелла говорит мне:

— Дай-ка сюда и принеси все ее вещи.

Я собрала все на ее постели и мы стали примерять кукле разные вещи. Вдруг входят Лиззи и Дора. И вот, как только они вошли, Дора взглянула так насмешливо и говорит:

— Ага, за любимым занятием. Взгляни-ка, Лиззи, до чего они увлеклись игрой, у них щеки так и горят.

Какова дерзость! Мы играем! Даже если бы мы и играли, то ей нечего над нами издеваться.

Гелла тоже страшно рассердилась и сказала сегодня:

— Никогда нельзя быть уверенным в том, что не окружен шпионами; пожалуйста, убери все в ящик, с глаз моих долой!

Глупо, почему это попрекают всегда куклами, как будто в этом что-нибудь постыдное. В сущности, ведь только гораздо позже начинаешь понимать, как хорошо сделаны вещи; когда получаешь их в семь, восемь лет, или будучи совсем маленькой, не отдаешь себе в этом отчета. Итак, от нынешнего дня с куклами навсегда покончено. Это тем более удачно, что послезавтра новый год.

Что больше всего меня злит — это дерзость Доры; а Лиззи будто бы сказала:

— Мы тоже когда-то этим наслаждались, — этих слов я от злости даже не расслышала. А вот с елки съедать самые вкусные вещи, да еще потихоньку!!! Я сама видела, — это, конечно, ничего! Это в пятнадцать лет можно. Но вчера после ужина я нарочно спросила:

— Куда девался второй сандвич марципана? Их было наверное два. — И я долго и пристально смотрела на нее, пока она не покраснела. Через некоторое время я опять заметила:

— Большая корзиночка с овощами тоже исчезла.

Тогда она ответила:

— Да, это я ее взяла, не буду же я тебя спрашивать, что мне можно взять. А сандвич взял Освальд.

Я страшно рассердилась, но тут вмешался папа.

— Иди сюда, бесенок, прополощи-ка твою злобу вторым сандвичем и глотком ликера. — Папа получил от дедушки в подарок бутылку ликера.

30 декабря. Нечего сказать, хорошее окончание года! Школа меня больше не радует. Ага, значит, мы—кошки влюбленные и надоедливые девчонки! Вот благодарность за то, что мы все время приходим по вторникам и пятницам в половине девятого в школу для приборки учебных пособий,—и после этого он говорит такие вещи. Теперь я слово «он» никогда не буду писать с большой буквы,—он этого совсем не заслуживает. Все это я должна проглотить одна, потому что Геллу отнюдь нельзя беспокоить. С одной стороны, меня рассердило, что мама передала мне это, а с другой—это даже хорошо, по крайней мере, я буду знать, что мне делать. Сестра нашего учителя гимнастики пришла случайно к маме, где была мама, и рассказала, что ее кузену, доктору В., ужасно надоела навязчивость учениц школы. И все эти обезьянки из первого класса тоже уж начинают. Поэтому он гораздо охотнее преподает у мальчиков, которые к нему тоже хорошо относятся, но, по крайней мере, так не пристают. Одно мне известно, я к нему больше приставать не буду. В пятницу, когда у нас опять будет урок, я приду без двух минут девять и, не говоря ни слова, принесу вещи в класс. И Калининской я тоже скажу, что наше приставанье ему так отвратительно. Вообще, как будто бы мы еще перwokлассницы!

1 января 19... История с профессором В. приводит меня в бешенство. Гелла спрашивала меня вчера несколько раз, что со мной, будто я совсем другая. Но, слава богу, я не проговорила, я должна это скрывать из-за ее здоровья, даже если это мне не под силу. Вообще, что для меня теперь жизнь, когда люди так фальшивы! Он был всегда так ласков и так мил, прямо очарователен; когда я только подумаю, как он всегда

справлялся о Гелле, — и при этом такая фальшь!!! В глаза одно, а за глаза другое! Если б Гелла это только знала. Итак, завтра!

2 января. Я с ним обошлась ужасно. Постучалась.

— С добрым утром, господин профессор. Будьте добры сказать, что нам нужно к уроку?

Он очень любезно:

— Сегодня ничего особенного. Ну, как прошел сочельник?

Я:

— Благодарю вас, как всегда.

Он повернулся ко мне:

— Однако, судя по вашему лицу, как будто что-то неладно.

Я:

— На это есть другие причины.

Он:

— А, вот как!

Ему легко сказать — а! Он же не имеет ни малейшего представления о том, что я все знаю.

6 января. Сегодня Гелле можно было в первый раз выехать. Она уже совсем поправилась и в середине января вернется в школу. До этого я должна ей сказать. То-то она раскроет глаза! Вчера она и без того уже спросила:

— Спрашивает обо мне еще С. Г.?

— Конечно, — лгу я, — но не так часто.

И она говорит:

— Сейчас видно — с глаз долой, из сердца вон.

А что будет, когда она узнает правду? Во всяком случае, я не скажу ей раньше, чем она не поправится совершенно.

10 января. Я все-таки должна была сказать Гелле и вот почему: она только и бредит С. Г. Сперва я молчу; тогда она говорит:

— Что у тебя за странное лицо? Разве тебе не позволено больше приносить классные пособия?

Я:

— Не позволено? Разумеется, позволено, но я не хочу их больше приносить. — Я даже не сказала Галле, как это меня больно задело; я ведь его безумно любила.

12 января. Очевидно, Гелла его тоже обожала, или, вернее, обожает до сих пор. В воскресенье вечером она до того разволновалась, что ее мама думала — у нее будет рецидив. У нее начались боли и понос. — Слава богу, она перенесла это так же, как и я! Она сказала сегодня:

— Не будем больше огорчаться. Мы расточали наши чувства (не любовь!) недостойному.

В такие минуты она великолепна, особенно теперь, когда она так бледна. К тому же, она страшно выросла во время каникул и своей болезни. Прежде я казалась выше ее, а теперь она переросла меня на четверть головы. Дора ужасно злится, что мы с ней почти одинакового роста. Это делает меня старше, чем мои двенадцать с половиной лет; слава богу, Гелле воспрещено возвращаться в школу пятнадцатого января; вместо этого, она поедет с матерью на две недели на Ривьеру.

18 января. Ужасно тоскливо, когда нет Геллы. В сущности, я замечаю это уже со времени ее болезни. Мне все кажется, что она еще больна. Она уехала со своей мамой в Меран и вернется в начале февраля.

24 января. С тех пор, как Гелла больна, то-есть, собственно, с тех пор, как она уехала, я всегда хожу вместе с Фритци Гюбнер. Она очень славная, в прошлом году я

этого не замечала. Она будет сидеть рядом со мной, пока Гелла не вернется. Потому что сидеть на парте одной — убийственно. Фритци уже кое-о-чем знает. Вначале она не хотела признаваться потому, что из-за этого обыкновенно выходит ненужная болтовня. Брат ей все рассказывал. Он безумно шикарен и его зовут Павлом.

29 января. Вчера было гулянье на катке и нас с Дорой отпустили. Я каталась больше всего с Фритци и с Павлом и получила два приза, один из них вместе с Павлом. Другой — за бег с другими пятью девочками. Павел замечательно умен; он говорит, что будет военным и сделается летчиком. Это еще блестящее, чем генеральный штаб. Их отец — майор, и он, Павел, должен был, в сущности, учиться в военном учебном заведении, но его дедушка не разрешил. Решили предоставить ему свободный выбор. Но, конечно, он будет все-таки офицером. Большинство мальчиков становится тем, чем были их отцы. Только Освальд думает сделаться моряком. Мне очень хотелось бы знать, что подразумевал папа, когда недавно сказал маме:

— Бог мой, мне это совершенно безразлично. Я это делаю только ради Освальда. Девочкам от этого тоже мало пользы.

3 февраля. Перечитываю как раз о папе; кажется, я понимаю, в чем дело. Я думаю, папа намеревается купить либо выигрышные билеты, либо дом. Но это касалось бы тогда тоже Доры и меня, ведь не принадлежало бы это только Освальду.

4 февраля. Вчера я спросила маму. Но она ответила, что ничего не знает; если это что-нибудь такое, что касается нас, то папа нам сам скажет. А все-таки что-то тут есть, иначе мама не сказала бы вечером папе,

что я ее спрашивала. Терпеть не могу такого скрытничанья. Почему нам не знать, что папа хочет купить дом? У дедушки Фритци дома в Брюнне и в Иглау. Но Фритци всегда очень просто одета и ее мама тоже.

9 февраля. Слава богу, завтра приезжает Гелла, как раз ко дню ее рождения. Ей уже все можно есть, и она получит от меня огромную коробку конфет от «Виктора Шмидта», с серебряными щипчиками. Мы с мамой поедем ее встречать на вокзал.

10 февраля. Я страшно рада, сегодня приезжает Гелла. Чуть-чуть не вышло так, что я бы не смогла ее встретить на вокзале, потому что маме сегодня очень нездоровится. Но папа поедет со мной. Фритци тоже хотела прийти завтра днем, но это невозможно. Она очень славная девочка и ее брат тоже, но в первый день приезда Геллы мы обязательно должны быть с ней только вдвоем. Она определенно просила меня об этом в своем последнем письме. Она провела в отсутствии больше трех недель. Это ужасно долго, когда любишь друг друга.

15 февраля. Совсем не могу собраться писать, потому что все свободное время мы проводим с Геллой вместе. Вчера нам выдавали четвертные отметки. Гелла, разумеется, ничего не получила. У меня, кроме географии и истории, круглые пятерки, даже по естественной истории, несмотря на то, что с нового года я не прочла ни одной строчки. Я ненавижу естественную историю. Когда на вторую четверть Гелла вернется в школу, мы будем с ней просить «бывшего» С. Г. освободить нас от приготовления в классе учебных пособий. Гелла для этого еще слишком слаба. Гелле уже минуло тринадцать лет, и папа находит, что она будет прехорошенькой. Будет—говорит папа; она уже хорошенькая. Она страшно

загорела на юге и это ей чрезвычайно идет, именно ей. Поэтому что, в общей сложности, я ненавижу, когда загорают. Но Гелле, положительно, все к лицу; она была прелестна, когда была так бледна в лечебнице, и теперь она тоже прелестна, только совсем по-другому. Вообще, Освальд прав, когда говорит:

— О красоте девушки можно судить по тому, до какой степени эта красота не теряет от загара.—Он говорил это всегда, когда во время каникул хотел подразнить Дору и меня, но он прав.

20 февраля. Третьего дня началась вторая четверть. Все были очень милы к Гелле, а г-жа М., притянув ее к себе, так ласково погладила по щекам. А теперь—самое главное. Сегодня был урок естественной истории. Когда мы постучались и вошли в комнату учебных пособий, профессор В. обратился к нам со словами:

— А, это вы, Брукнер, вот и прекрасно; теперь, смотрите, не устраивайте больше таких штук. Как вы себя чувствуете?

А Гелла отвечает:

— Благодарю вас, господин профессор, очень хорошо. Взглянув на нее, я вижу, что у нее страшно серьезное лицо, а он говорит:

— Кажется, вы заразились дурным настроением от вашей подруги?

Гелла:

— Вы слишком добры, господин профессор, но мы не хотим вам надоедать. Что надо перенести? Кроме того, мы просим избавить нас от наших обязанностей, так как я еще недостаточно окрепла.

Она говорит это так повелительно, совсем как ее папа. И это звучит страшно гордо. Он поглядел на нас и сказал:

— Ладно, вас заменят две другие ученицы.

Мы так и не знаем, понял ли он что-нибудь, или только вида не показал. Но когда мы закрыли дверь, мне все-таки стало ужасно грустно; ведь это было в последний раз, в самый последний раз.

27 февраля. Сегодня я получила по естественной истории «неудовлетворительно». Меня не вызывали, но когда Клейбер ничего не знала, я рассмеялась, и тогда он сказал:

— Ну вот, Лайнер, исправьте вы эту чепуху.

Но так как я, как нарочно, думала о чем-то другом, то не могла сообразить, о чем спрашивали, и сейчас же получила «неудовлетворительно». Конечно, раньше это не имело бы значения, но теперь, с тех пор, как... Гелла и Франке всячески меня утешали и сказали:

— Это пустяки, тебя не вызывали, он должен тебя раз основательно вызвать.

— Конечно,—заметила Франке,—как бы ты хорошо ни знала, все равно ты больше, чем «удовлетворительно», не получишь. Такого поражения не может забыть ни один профессор.—Дело в том, что мы ей рассказали историю про «обезьянок». Тогда она находила, что наше поведение слишком обращает на себя внимание. Но это безусловно неверно. Теперь же она становится на нашу сторону, потому что поняла, что мы были правы. Теперь пособия носят Вербеневич и Беннари. Да, они гораздо больше к этому подходят. Геллину отцу это и без того давно не нравилось; он говорит:

— Для этого существуют школьный сторож или уборщица.

Сторож и уборщица, которых мы не видим целый год,—это великолепно!

12 марта. Гелла не откровенна. Сегодня мы встретили с ней элегантного молодого человека в золотом пенсне и с белокурыми усами. Гелла покраснела до ушей, а господин поклонился и сказал:

— А, фрейлейн Еленхен, как вы хорошо выглядите. Как вы поживаете?

На меня он и не взглянул, а когда он отошел, она объявляет:

— Это был доктор Фексте, который ассистировал во время моей операции.

— И такую вещь ты мне говоришь только сегодня?

Она прикидывается совершенно невинной и говорит:

— Ну, конечно, мы же его раньше не встречали.

Тогда я говорю:

— Не в этом дело. Если бы ты знала, как ты покраснела, то не отрицала бы.

Тогда она возражает:

— Что же я такое отрицаю? Не думаешь ли ты, что я в него влюблена? Нисколько.

Если человек не влюблен, то он так не краснеет. Во всяком случае, я тоже не буду всего говорить; я тоже умею молчать.

14 марта. Вчера мы болтали меньше, чем обыкновенно; в особенности я была молчалива. Сегодня в пять часов, как раз когда я делала перевод, неожиданно раздался звонок, и вошла Гелла. Она пришла попросить у меня прощения и принесла мне букетик фиалок. Разумеется, я ей простила, кажется, это первый раз, что мы немного повздорили. Сперва она хотела принести мне конфет, но потом остановилась на фиалках, и я тоже нахожу, что это гораздо тоньше и милее. Сладости дают

маленькому ребенку, когда он ушибется или рассердится. Цветов детям не принесешь.

19 марта. Скончалась Фрида Белэ. Мы все этим очень потрясены. Мы никогда с ней не были очень близки, но теперь, когда она умерла, вспоминаешь, что она все-таки была нашей соученицей. Она скончалась от слабости сердца, на почве ревматизма суставов и воспаления мышц. Мы все, кроме Геллы, были на похоронах. Мама Фриды Белэ страшно плакала, а бабушка еще больше; и отец ее тоже плакал. Мы принесли венок из белых роз, с чудной надписью:

«Смерть вырвала тебя в полном расцвете—твоя подруги».

Сегодня мне как-то ничего не хочется. Я не видела больше Белэ, но Франке была там вчера и видела ее в гробу. И она говорит, что никогда этого не забудет, у нее чуть не сделался сердечный приступ. А в церкви с Лампель действительно случилась истерика, потому что всего месяц тому назад похоронили ее мать и она опять все вспомнила и страшно расстроилась. Я тоже горько плакала у Геллы. Она подумала, что я представила себе, как она сама могла умереть в декабре. Но это неверно, об этом я не думала. Просто, когда кто-нибудь умирает, то становится страшно грустно.

24 марта. Нет, это возмутительно! Я не могу ехать с Геллой в Цилли. Ее мама зашла к своей кузине, и когда та услышала, что они на пасху едут в Цилли, то стала просить взять с собой Мелани. То-есть, она не попросила прямо, но так долго ходила вокруг да около, пока мать не сказала Гелле:

— Пусть уж Мелани едет с нами, ей это будет на пользу после недавней болезни. Дело в том, что зимой у нее было катаральное состояние верхушки легких. Мы

с Геллой ненавидим ее, потому что она ужасно шпионит и префальшивая. И с ней я уж, конечно, не поеду. И Гелла тоже говорит, что, как это ни грустно, но если поедет та, то мы не сможем сказать друг другу ни слова и будем только изводиться. И она согласна, что мне не стоит ехать. Но это меня ужасно злит, во-первых, потому, что мне очень хотелось ехать вместе с Геллой, а во-вторых, потому, что мне хотелось вообще уехать на праздники, так как почти весь наш класс разъезжается. Значит из этого ничего не выйдет. Потому что, хотя Геллина мама и не понимает, почему мы не можем ехать втроем, но это совершенно невозможно. Однако этого мы не сможем объяснить. Гелла такая поэтичная, она сказала только:

— Угасла несбыточная мечта!

Когда Гелла говорит так высокопарно, то это звучит прелестно, но когда это делает Дора, то я только злюсь, потому что у нее это выходит неискренно.

26 марта. Сегодня цикл ученических спектаклей закончился пьесой «Волны морские и волны любви». Я очень люблю ходить в театр, но никогда из пьесы ничего не записываю. Все равно, пьеса написана каким-нибудь писателем и, следовательно, можно всегда перечесть, да и так все запоминается. Не понимаю, что это Дора всегда так много может писать на другой день после представления. Вероятно, она влюблена в кого-нибудь из актеров и об этом так много пишет. Впрочем, мы — второй класс — не получили билетов на все представления, только ученицы четвертого старшего класса. Но меня это мало огорчает, потому что и без этого мы часто выходим по вечерам и в воскресенье днем. Но по вечерам мне, к сожалению, обыкновенно нельзя выходить.

29 марта. Сегодня со мной и с Дорой произошло нечто ужасное. Я совершенно не могу этого написать. Она была крайне мила и сказала:

— Два года тому назад с ней произошло то же самое на железной дороге. Она ехала с мамой пятнадцатого февраля — она никогда не забудет этого дня — в Хитцин к г-же Мартини. Кроме нее и мамы в вагоне был еще только один господин. Мама ездит всегда во втором классе. Мама и Дора сидели рядом, а господин стоял в другой части вагона, так что маме его не было видно. А когда Дора оглянулась, он раскрыл пальто и...! То же самое, что сделал сегодня господин под воротами. Когда они выходили, то боа Доры зацепилось в двери, так что, против своего желания, ей пришлось обернуться и она опять увидела...! После этого она страдала бессонницей целый месяц. Это я хорошо помню, только тогда я не знала причины. Она никому никогда не говорила об этом, кроме Эрики, с которой это тоже однажды приключилось. Дора говорит, что это приключается почти с каждой девочкой хоть один раз; и такие мужчины «ненормальные». Я не совсем это понимаю, но спросить я все-таки не решаюсь. Быть может, Гелла знает. Я, разумеется, не очень-то разглядывала, но Дору прямо в дрожь бросило, и она сказала:

— И это нужно терпеть! — И потом в разговоре со мной она добавила, что от этого мама была больна и у нее было пять человек детей. Я оказалась очень глупой и спросила:

— Как же от этого? От этого не может быть детей.

— Разумеется, — ответила она, — я думала, что ты уже все знаешь, и что ты и Гелла все сами поняли, когда с Мали произошел скандал из-за пояса.

Я опять ничего не сообразила, совсем как идиотка, и вместо того, чтобы откровенно признаться, что я знаю и чего не знаю, я пробормотала:

— Да, я знаю все, кроме этого. Тогда она рассмеялась и сказала:

— Ну, в таком случае ваши познания немногого стоят.

И тут она, наконец, кое на что намекнула. Если это действительно так, то Дора права, говоря, что лучше не выходить замуж. Влюбляться можно и должно, но потом надо просто расторгнуть помолвку. Да, это выход из положения и никто не сможет сказать, что у той или другой не было партии! Мы так долго ходили взад и вперед около школы, что чуть не опоздали и попали прямо к звонку. На возвратном пути я рассказала Гелле про грубую выходку этого человека. Она тоже не понимает, что в данном случае обозначает «ненормальный». Но для нас это теперь служит олицетворением всего самого отвратительного. Потом Гелла рассказала мне про одного пьяного, который шел в таком виде по улицам и которого схватили жандармы. Быть может, сегодняшний человек был тоже пьян, хотя вряд ли. И если бы он не сделал этого, его можно было бы принять за вполне воспитанного человека. Гелла тоже знает, что от этого рождаются дети. Она мне все объяснила, и теперь мне ясно, что от этого можно заболеть. Вчера было уже поздно, больше одиннадцати часов, и поэтому я кончаю сегодня. Гелла говорит:

— Это первородный грех и его совершили тоже Адам и Ева. До сих пор я представляла себе этот грех совершенно иначе. Но чтобы это! Я ужасно взволнована со вчерашнего дня, все вижу это перед глазами, в сущности, я туда совсем не смотрела, но, очевидно, все-таки видела.

30 марта. Я не знаю, каким образом во время урока истории мне все это опять вспомнилось и то, что Дора сказала про папу. Но я не могу себе этого представить. Мне неприятно из-за папы, что я это знаю. Быть может не все так, как говорят Дора и Гелла. Вообще на Геллу можно положиться, но ведь и она способна ошибиться.

1 апреля. Сегодня мне Дора многое рассказала. Она совсем иначе относится ко мне, чем раньше. Говорят — м..., а не р... Р... говорят только неинтеллигентные люди, или можно еще сказать — «сформирована». Итак у Доры м... с августа прошлого года, и это ужасно неприятно, потому что все мужчины это замечают. Поэтому-то у нас в школе три профессора — мужчины, остальные — дамы и барышни. Теперь у Доры то совсем не бывает м..., то очень сильные, и это признак малокровия. Безумно интересно, когда все мужчины это знают.

4 апреля. Мы теперь все говорим о таких вещах; Дора безусловно знает гораздо больше, чем я, то-есть не больше, но гораздо подробнее. Но все-таки она не вполне откровенна. Когда я спрашиваю ее, откуда она это знает — от Эрики, или от Фриды, она отвечает:

— Какие глупости; каждый может в этом сам разобраться; нужно только раскрыть глаза и уши. И мозгами надо тоже немного пошевелить.

Но с одними глазами и ушами далеко не уедешь. Я ко всему присматриваюсь, и не совсем же я глупа. Кто-нибудь должен все-таки объяснить, самому до этого никак не дойти.

6 апреля. Мне теперь совсем не интересно ходить в гости. Обыкновенно мы очень веселились у Рихтеров, а сегодня там было довольно пресно. Теперь я, между прочим, понимаю, почему Дора не любит ездить во втором

классе. Раньше я думала, что она мне делает это на зло, именно потому что я люблю ездить во втором классе. Она отказывается ездить с тех пор, что это с ней тогда случилось. Вот как можно иногда, не зная, напрасно обвинить человека. Но почему она не сказала мне правды? Она говорит, что я была в то время ребенком. Ну хорошо, а как же это зимой, когда я так сердилась, что мы поехали в Шенбрунн в третьем классе? Тогда я была уверена, что она мне хочет насолить; не могла же я поверить тому, что она боится ехать в полупустом вагоне, где на нас могут наброситься и зарезать. Но теперь я ее отлично понимаю, ведь не могла же она сказать маме, а тем более папе, всю правду. А зимой и весной действительно часто никто не ездит по пригородной железной дороге.

7 апреля. Мама сказала сегодня, что мы все, в особенности я, были вчера у Рихтеров ужасно скучные и незанимательные. И почему мы все время переглядывались? Это крайне неприлично. Ах, если бы она знала, о чем мы подумали, когда г-жа Рихтер сказала, что нынешняя погода совершенно ненормальная; такой ненормальной жары не было уже много лет. А потом, когда вернулся домой г-н Рихтер и стал рассказывать о своем брате, который провел всю зиму в Гохимеберге:

«Э, мой брат не совсем нормальный человек, у него не хватает какого-то винтика», — то я чуть не прыснула со смеха. К счастью, г-жа Рихтер навалила нам снова полную тарелку печенья, и я низко наклонилась над тарелкой. А мама опять нашла, что я так жадно ела, как будто никогда дома не вижу печенья. Ну, уж это было с ее стороны совсем несправедливо, потому что печенье меня меньше всего интересовало. Дора тоже говорит, что я должна лучше притворяться, и советует глядеть на нее

и брать с нее пример. Да, пожалуй, она права, но, в сущности, к чему это? Пусть люди не употребляют таких слов, которые имеют совсем другое значение. Но все-таки научиться этому мне надо.

8 апреля. Мы сегодня ужасно перепугались; в восемь с половиной часов внезапно позвонили из школы по телефону, что Доре сделалось плохо во время латинского урока и чтобы за ней приехали в экипаже. Мама сейчас же отправилась в автомобиле, и я с ней, так как у меня все равно в девять часов урок; и вот Дора лежит на диване, а около нее директриса и подруга директрисы, г-жа Прейская—она женщина-врач—и они расстегнули ей платье и положили на голову компресс, потому что во время латинского урока с ней сделался обморок.

Это уже третий раз в этом году, значит правда, что она малокровна. Я хотела тоже вернуться домой, но мама и г-жа П. заявили, чтобы я преспокойно шла на урок. А когда я выходила, докторша прибавила:

— Вот здоровая, крепкая девочка, настоящий молодец!

Это говорят, в сущности, только про мальчиков и мужчин, но она, верно, привыкла к этому, потому что всегда находится в обществе мужчин. Когда изучаешь медицину, то все это нужно видеть и знать; это должно быть ужасно.

Дора лежит сегодня в постели, и доктор тоже подтвердил, что она малокровна. Завтра или послезавтра она пойдет с мамой к профессору. Дора говорит, что терять сознание—дивно. Сперва перестаешь слышать окружающие голоса и испытываешь какую-то слабость, а потом—ничего ровно не чувствуешь. Будет ли у меня когда-нибудь обморок? Вероятно, когда... мы много говорили о том, что нас интересует. Днем заходила Гелла, чтобы справиться о Доре, и находит, что в постели она чрезвычайно

красива—такой страдальческий вид, при этом столько изящества и благородства. Да, это правда, у нас всех очень знатный вид.

9 апреля. Сегодня день свадьбы папы и мамы. Только теперь я понимаю, что это собственно обозначает. Дора сомневается, чтобы это мог быть самый лучший день в жизни, как все, а в особенности поэты, это утверждают. Она находит, что это должно быть ужасно конфузно, так как все люди ведь знают... Это верно и, по правде сказать, совершенно излишне сообщать всем, когда день вашей свадьбы. Дора говорит, что она никогда не скажет своим детям, когда она венчалась. С другой стороны, было бы обидно, если бы все родители держались этого мнения, потому что тогда в каждом семействе было бы одним праздником меньше. А чем больше праздников, тем веселее.

10 апреля. Завтра я еду с папой в Зальцбург. Дору не берут, потому что неизвестно, не будет ли ей плохо в дороге. Я против этого ничего не имею, хотя не желаю ей зла, а наоборот, даже жалею ее, но я предпочитаю ехать с папой вдвоем. В Зальцбурге я никогда надолго не останавливалась. Я ужасно радуюсь. Наши весенние костюмы бесподобны; темнозеленые, на шелковой подкладке в полоску—зеленая и золотистая, а к ним светлокориичневые соломенные шляпы, отделанные ромашкой, а летом ромашку заменят вишнями или розами. Дневник я беру с собой, чтобы записывать все, что меня будет интересовать.

12 апреля. Я проспала всю дорогу. Папа уверяет, что я ужасно храпела и металась, но я этого не помню. У нас отдельное купе, только вначале с нами ехал какой-то господин. Гелла не поехала, так как они ждут к себе тетку с мужем,—она только на масляницу вышла замуж. Я этим даже довольна, мне так приятно быть вдвоем

с папой. Сегодня днем мы были в Хелбрунне и в Фельзен-театре. Было чудесно.

13 апреля. Папа всегда называет меня: мой бесенок! Но при других мне это неприятно. Сегодня мы были на Гайсберге. Было дивно-хорошо, вид замечательный. Когда я смотрю вдаль, мне становится всегда так грустно на душе. Подумать только, что существует столько людей, которых совсем не знаешь и которые может быть все очень милые. Мне бы хотелось постоянно путешествовать; это было бы чудесно.

14 апреля. Сегодня я чуть было не заблудилась. Папа писал маме письмо, а мне он разрешил погулять. Не знаю, как это произошло, но я вдруг очутилась где-то совсем далеко в незнакомом месте, какой-то старый господин меня спросил, чего я ищу, потому что я раза три возвращалась к тому же месту. Я объяснила ему, что мы живем в «Почтовой гостинице» и что я заблудилась. Тогда он пошел со мной, и из разговора выяснилось, что он знает папу еще из университета. Он зашел к нам и папа ему очень обрадовался. Он адвокат в Зальцбурге, но у него уже седая борода. При прощании он шепнул папе:

— Поздравляю тебя с дочкой; из нее выйдет нечто выдающееся!

Хотя он говорил совсем тихо, я все-таки поняла. Мы провели с ним весь день на Капуциненберге. Играл чудный военный оркестр; два вольноопределяющихся из егерей, которые сидели за нашим столом, то и дело поглядывали в нашу сторону; один из них был прехорошенький. Все говорят, что мой новый костюм мне очень идет. Даже папа говорит:

— Ты скоро будешь взрослой барышней! Только не торопись!

Я, в сущности, не понимаю, почему он это сказал; мне бы хотелось быть уже совсем взрослой; но, к сожалению, до этого еще далеко.

15 апреля. Сегодня целый день идет дождь, отвратительно. Никуда нельзя выйти. Все утро мы бродили по городу, осмотрели несколько церквей, потом зашли в кондитерскую, где я съела четыре шоколадных буше и два куса торта. Зато я ничего не могла есть за обедом.

16 апреля. Как раз в то время, когда я вчера писала, пришел человек от доктора Гратцель с приглашением на сегодняшний день. Мы отправились к нему. У него четыре дочери и два сына, а жена умерла три года тому назад. Один из сыновей студент в Граце, другой—обер-лейтенант; у него есть невеста. Дочери уже немолодые; одной двадцать семь лет и она обручена. По-моему, это ужасно. Младшей (!!!) двадцать четыре года. Так смешно, когда говорят «младшая», а ей уже двадцать четыре года. Папа находит ее очень красивой и уверен, что она еще выйдет замуж. Двадцати четырех лет!! А она еще даже не помолвлена; не представляю себе этого. У них большой сад, три собаки и две кошки, которые живут в полной дружбе. Из одной комнаты в другую ведут ступеньки; по-моему, это прелестно, а окна все с выступами. Весь дом на старинный лад, даже обстановка. Мне это очень нравится. После пирожного подавали засахаренные фрукты, главным образом, засахаренные ломтики тыквы и чудное печенье. Я съела огромную порцию засахаренной тыквы. У них есть и граммофон, а потому Лена и я играли на рояле. Когда мы уходили, пришел Фриц, студент; он страшно покраснел, и доктор Гратцель сказал мне в передней:

— Вы сегодня одержали победу.

Я этого, собственно, не думаю, но всегда приятно услышать такую вещь. Завтра мы, к сожалению, уже уезжаем, потому что хотим провести два дня в Линце у дяди Теодора, которого я совсем не знаю.

17 апреля. Дяде Теодору уже шестьдесят лет и тетя Лина тоже старенькая. Но они оба очень милые. Я их не знала. Мы живем у них. Вечером пришел их сын с женой — это мой кузен и моя кузина — и с дочкой; ей я, собственно, прихожусь теткой. Ужасно смешно в двенадцать лет быть теткой девятилетней племянницы. Сегодня мы гуляли в городском саду, временами накрапывал дождь.

22 апреля. Началась школа. Мы с Дорой теперь обыкновенно ходим в школу вместе, потому что из-за переутомления она прекратила уроки латинского языка. Профессор, у которого она была с мамой, настаивал, чтобы она вообще бросила занятия, но на это она ни за что не согласилась. Между прочим, я на нее очень рассердилась; дело в том, что она латынь зубрит потихоньку. Она как раз списывала слова, когда я третьего дня вошла в комнату, и живо захлопнула книгу, вместо того чтобы чисто-сердечно признаться:

— Рита, не говори родителям, что я по вечерам еще учусь; я полагаюсь на твое слово.

Она действительно могла бы положиться. Боже, если бы я захотела говорить! Быть может она воображает, что я не замечаю белокурого молодого человека, который каждое утро нарочно попадает на нашей дороге? Гелла на него тоже обратила внимание; впрочем, у него ужасающая лысина и наверно ему не меньше тридцати лет. И, разумеется, она не стала бы так много болтать со мной и Геллой, если бы его не было. Но такая неискренность возмущает меня. В общем, мы с ней теперь очень близки.

24 апреля. Сегодня мы исповедывались и причащались. Исповедь для меня невыносима; впрочем, со мной никогда еще не случилось того, что рассказывают многие дети, даже из пятого класса. Ни один священник не спрашивал меня еще о седьмой заповеди; все спрашивают только: на словах, в мыслях или на деле? Но тем не менее я ужасно неохотно иду к исповеди, и Дора тоже. Гелле, как протестантке, в этом отношении гораздо лучше, у них нет исповеди. А во время причастия меня всегда разбieraет страх, как бы у меня изо рта не выпал кусочек просфоры. Это было бы ужасно. Наверно за это сейчас бы отлучили от церкви, как еретика. Доре этот раз нельзя было исповедываться и причащаться; папа не позволил. Ей совершенно нельзя выходить из дома натошак.

26 апреля. Действительно, в третьем классе с одной девочкой так и случилось: у нее изо рта выпало причастие. Вышла большая неприятность. Она говорит, что не виновата. У священника сильно тряслась рука. Это правда, он старенький старичок, и поэтому я сама всегда так боюсь. С молодым священником гораздо лучше, и такая вещь случиться не может. Папа говорит, что из-за этого девочку от церкви не отлучат и, к счастью, ее дядя—высокопоставленное духовное лицо,—он прелат. Он ее опекун и, конечно, ей поможет.

27 апреля. Сегодня, во время перемены, мы познакомились с этой девочкой. Она очень славная и уверяет, что совершенно не виновата. Она очень даже религиозна и собирается поступить, со временем, в монастырь. Я тоже религиозна: мы ходим в церковь почти каждое воскресенье, но в монастырь мне все-таки не хочется поступать. Дора говорит, что большею частью это делают от несчастной любви, потому что жизнь тогда становится пустой и не-

навистой. При этом у нее был такой сентиментальный вид, что я ее спросила:

— Кажется, ты сама не прочь постричься?

Но она ответила:

— Нет, мне этого, слава богу, не нужно.

Этим она, очевидно, хочет сказать, что у нее не несчастная, а, наоборот, взаимная любовь. Очевидно, она влюблена в утреннего высокого господина. Я пристально взглянула на нее и сказала:

— Я рада за тебя. Но Гелле и мне не нравится его лысина.

Тогда она произнесла с большим удивлением:

— Лысина? Какие глупости. У него прекрасный лоб мыслящего человека.

27 апреля. Сегодня в первый раз приходила *Mademoiselle*. Я совсем забыла написать, что Дора должна теперь два часа в день сидеть и гулять на солнце. И так как мама не совсем здорова и не должна много ходить, то к нам будет приходить *Mad...* Я тоже должна выходить с ними в свободное время—для «здоровья»,—говорит папа. Но я и не подумаю, мне это слишком скучно. У меня просто не окажется свободного времени. *Mad...* приходит три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, а по понедельникам, четвергам и субботам у меня урок музыки, следовательно, я не могу выходить с ними. О, радость! О, блаженство! Так всегда выражается Освальд по окончании четверти и по окончании учебного года. Между прочим, она замечательно хорошенькая, выющиеся белокурые волосы и огромные серые глаза с черными ресницами и бровями, но она говорит так быстро, что я ничего не понимаю. В остальные три дня недели должна приходить англичанка, но пока ее еще нет; они

все ужасно дорогие. По-моему, смешно получать жалованье за прогулку с взрослыми барышнями; ведь это только развлечение. Другое дело, когда гуляешь с такими рожами, как мы встречали иногда в прошлом году в парке ратуши. А что до разговора по-французски и по-английски! Если они не хотят разговаривать, так и не надо. Невозможно же говорить вечно по-французски и по-английски: от этого увянешь.

28 апреля. Сегодня у нас были Рихтеры и их старший сын, обер-лейтенант из Лемберга. Он обворожителен и страшно ухаживал за Дорой; впрочем, и Вальтер очень мил, он в Лесном институте в Мёдлинге; обер-лейтенант принесет завтра Доре книгу Толстого, которую она должна прочесть, а потом они будут вместе заниматься музыкой; она будет играть на рояле; а он—на скрипке; жаль, что я не играю так хорошо, как Дора. На троицу приедут также Вальтер и Виктор, который получил отпуск по случаю болезни, или, вернее, потому, что считается больным; нельзя выглядеть так, как он, и быть больным.

4 мая. Обер-лейтенант Р. приходит при каждом удобном случае, очевидно, он до безумия втюрился в Дору. Но папа этого не позволяет. Сегодня он сказал Доре:

— Послушай, этого ветрогона изволь выкинуть из головы; это глупости. Как только вы, девчонки, видите мундир, так совсем с ума сходите. Час-два поиграть вместе—на здоровье; но эта постоянная беготня с книжками и нотами—только один предлог.

6 мая. Обер-лейтенант Р. каждое утро провожает нас, то-есть Дору, в школу. Он, в сущности, должен очень поздно вставать, потому что действительно болен, но ради Доры он встает страшно рано, приезжает из Хитцинга и поджидает в переулке. Я хожу, разумеется, вдвоем

с Геллой, но на... улице мы снова встречаемся, чтобы в школе никто не заметил.

13 мая. Завтра день рождения мамы, и Виктор (я теперь тоже всегда говорю В..., когда мы болтаем о нем с Дорой) принес ей чудные розы и пригласил нас на следующее воскресенье. А меня он назвал в передней «Духохранитель его любви». Да, это верно, и я всегда таким останусь; он этого вполне заслуживает, да и Дора стала совсем другой, чем раньше. Гелла говорит, что сейчас видно облагораживающее действие любви; прежде она это считала пустым вымыслом.

15 мая. Папа сказал:

— Пока у Рихтеров гостит этот шалопай, знакомство с ними меня не очень-то радует, но из-за родителей отказать нельзя.

Мы надеваем наши зеленые костюмы и белые шелковые блузки с вышитыми на них зелеными листиками; потому что Дора любит ходить совсем в белом только летом, а кроме того из-за их значения, потому что на блузах вышиты трилистники. Мы безумно радуемся. Только бы мама к тому времени поправилась, а то сегодня она лежит. Быть больным прескучно вообще, но если этим еще портить удовольствие другим, то это совсем невыносимо.

16 мая. Третьего дня был день рождения мамы; но было менее весело, чем обыкновенно, потому что мама часто прихварывает. Я подарила ей шкатулочку, на которой нарисовала ветку дикого винограда; это выглядит страшно оригинально. От Доры она получила обертку для книги, с нарисованной на ней веткой японских вишен: от папы—не знаю что; думаю, что деньги, потому что к именинам и к рождению он всегда дарит ей

конверт. Но так как маме нездоровилось, то мы не так и веселились, а когда за обедом мы с ней чокнулись за ее здоровье, то она потихоньку вытерла себе глаза. Но это, очевидно, не опасно; ведь она же выходит и совсем не плохо выглядит. Я нахожу маму страшно элегантной; ей все идет, как домашний капот, так и костюм. Дора говорит, что, если она заболит по вине мужчины, то она его возненавидит, а своим дочерям запретит выходить замуж. Все это совершенно верно, но сперва надо знать наверное, можно ли от этого заболеть. Говорят, что тетя Дора поэтому терпеть не может папу. Действительно, папа с ней не был так мил, как бывает обыкновенно с нашими родственниками, или с теми дамами, которые приходят к маме. Но, в конце концов, тетя Дора не имеет никакого права делать папе сцены, как уверяет Дора. На это имела бы право только мама. Дора боится, что маме придется делать операцию. Я бы ни за что не позволила себя оперировать, это должно быть ужасно; я же знаю, как делали Гелле операцию слепой кишки. Правда, Дора находит, что «когда родишь пятерых детей, то, помилуй бог, к этому уже можно привыкнуть».

Но я буду каждый вечер молиться богу, чтобы у мамы обошлось без операции. Нынче мы наверно на троицу не уедем, потому что мама собирается с Дорой уезжать в какой-нибудь курорт, вероятно в Франценсбад.

18 мая. У Рихтеров было чудесно; Вальтер приехал из Мёдлинга, был страшно мил и говорил, будто я до того похожа на свою сестру, что нас можно перепутать. Это совершенно неверно, но я знаю, что он этим хотел сказать. Он очень хорошо играет на флейте и они великолепно исполнили трио. Я даже злилась, что раньше упражнялась так лениво. Во всяком случае, с завтрашнего

дня, если только время позволит, я буду каждый день играть по два часа на рояле. Следующую зиму Виктор хочет учредить частный театральный клуб, так что ему придется больше полугода оставаться в Вене. Вальтер находит Дору очень интересной, и когда я сказала, что она, к сожалению, чересчур бледна, он возразил:

— Но это не вредит в глазах мужчины. Вы можете это видеть на моем брате. Впрочем, это в сущности и не болезнь. И, наоборот, часто придает девушке совершенно особую привлекательность. Стоит взглянуть на вашу сестру.

Позавчера в первый раз появилась Мисс; я ничего бы не потеряла, если бы никогда ее не видела. Ее зовут мисс Мэри Лэнди и она носит фальшивые белокурые волосы. Она уверяет, что она невеста. Дора же говорит, что это было когда-то... Я не думаю даже этого. В... говорит, что Мад... первоклассная красавица. Я спросил Дору, не ревнует ли она, но та ответила, что стоит выше всего и что она уверена в его любви. Он хочет оставить военную службу и поступить в какое-нибудь министерство, и тогда они, вероятно, поженятся. Но Дора считает, что с этим он может еще подождать, так как быть тайно обрученными гораздо приятнее. Тут только она поняла, что проговорила, и, покраснев до ушей, сказала:

— Ведь это должно быть до свадьбы, не правда ли?

Конечно, она уже тайно обручена, но не хочет даже мне в этом признаться. К чему я тогда «Дух-охранитель ее любви?»... Если бы он это знал...

19 мая. По правде сказать, я намеревалась сегодня играть на рояле, но оказалось, что это совершенно невозможно: во-первых, у меня был кроме этого урок, а во-вторых, с Дорой случилась ужасная вещь. Она забыла в школе свой дневник; а так как у нас в нашем классе

был урок закона божьего, то, когда я вошла, мне бросилась в глаза лежавшая под третьей партой книга, в голубом переплете. Боже, подумала я, как это похоже на Дорин дневник. Быстро подошла к книжечке и положила на нее свой ранец. Во время урока я ее подняла. Действительно, это был Дорин дневник. Вернувшись в час домой, я сперва ничего не сказала. После обеда она начала, ничего не спрашивая, искать; тогда я сказала совершенно спокойно:

— Быть может, ты ищешь свой дневник? Вот он. В пя - том клас - се ле - жал он под тре - тьей ска - мейкой. (Так я тянула при разговоре.)

Она страшно побледнела и сказала:

— Ты ангел. Если бы его кто-нибудь нашел, то меня вышвырнули бы из школы, а Mad... должна была бы утопиться.

— Ну, наверное это не так уж страшно,—ответила я, но ее слова о Mad... меня сильно заинтересовали. Во время урока я слегка заглянула, что она писала про В... Но я не могла прочесть, так как несколько страниц о нем были исписаны мелким убористым почерком, а про Mad... я даже ничего и не заметила.

— Ты читала?

— Нет, только то, что попадалось на глаза... Там одна страница вырвана.

— О В?... или про Mad...?

— Небольшой отрывок про Mad...; но Расскажи мне все; я не выдам ничего. Если бы я захотела, прошу тебя, ты знаешь же...

Тут она рассказала про Mad... Но я должна была ей поклясться, что даже Гелле не передам слышанного. Mad... тайно имеет жениха, которому она позволила дойти до

«высшего предела любви»; это значит, другими словами, что она... Она его обожает и она бы сейчас же повенчалась, но он военный и у них нет достаточно денег для венчанья. Она говорит, что если мужчину очень любишь, то для него можно все перетерпеть. Она уже несколько раз была у него, но с большими предосторожностями, так как, если бы ее отец узнал об этом, то он убил бы ее. Дора видела лейтенанта и говорит, что он очень красив, но что В... несравненно лучше. Mad... говорит, что, в общем, мужчинам доверять нельзя, но лейтенант совершенно не такой; он верен, как золото. И В..., наверное, тоже.

21 мая. Когда сегодня пришла Mad..., я совершенно не могла, в мамином присутствии, на нее смотреть, и Дора говорит, что я вела себя ужасно глупо. Именно сегодня я пошла вместе с ними и, встретив шикарного офицера, поперхнулась и взглянула на Дору. Но она не поняла, почему.

Mad... — дочь одного высокопоставленного военного и сдала во Франции государственный экзамен, чтобы освободиться от «тирании» своей матери, которая держала ее в ежовых рукавицах и, пока она не получила самостоятельных уроков, не выпускала ее одну на улицу. Дора говорит, что Mad... всегда выражается очень изысканно и в особенности это она описывает всегда очень тонко. Конечно, она всегда говорит в таких случаях по-немецки, так как по-французски это еще труднее сказать и потом, может быть, Дора ее не поняла бы, и Mad... пришлось бы переводить. Ее зовут Сильвия, а он называет ее «Сильветта». Если любишь мужчину до сумасшествия, то даешь все, что он от тебя требует, говорит Mad... Но это, в конце концов, не необходимо, ведь тогда всякий сможет потребовать самых глупых вещей; например, можно потребовать,

чтобы достали луну с неба, или чтобы ради него вы вырвали себе зуб. Дора говорит, что вполне понимает Mad..., у меня же еще отсутствует «глубина восприятия и чувства». Что это должно обозначать?—Это ерунда. Но так как это красиво звучит, я записала эту фразу и, может быть, когда-нибудь в разговоре с Вальтером применю ее. Mad... все время страшно боится, что у нее будет ребенок. Тогда отец ее обязательно задушит. Лейтенант — летчик и надеется сконструировать новый аэроплан; тогда, продавши его выгодно, он сможет жениться на Mad... Но если бы что-нибудь случилось и родился бы уже теперь ребенок, это было бы ужасно.

22 мая. Сегодня Дора спросила меня, откуда я «все» знаю, не от Геллы ли? Но так как я не хочу выдавать Геллу, то я поспешно ответила:

— Боже, ведь это все можно прочесть в словаре.— Дора рассмеялась и сказала:

— Ты сильно заблуждаешься, в словаре нет и десятой доли всего, да и вообще это не так. В этих вопросах совершенно невозможно полагаться на книги.

Сперва она не хотела рассказывать мне подробности, но потом все-таки рассказала; в особенности названия определенных частей тела, об оплодотворении и о микроскопическом ребенке, который, в конце концов, исходит из мужчины, а не из женщины, как мы с Геллой думали, и как узнают, беременна ли женщина. Это, в конце концов, ужасное слово. Вообще всякое слово может иметь такое значение и Дора говорит, что поэтому надо быть страшно осторожной в разговоре; это правильно. Если говорят: «Устал до того, что не шевельнешь ни одним членом», то это ужасно двусмысленно, в особенности если это говорит мужчина. Дора думает, что лучше всего было бы

записать себе все эти двусмысленные слова, но их так много, что это неосуществимо. Единственно, надо быть страшно осторожным; и к этому довольно скоро привыкаешь. Но все же Дора недавно проговорила и сказала В...:

— Я не ищу сношений...

А это равносильно «пределу любви» — это ей сказала Mad... Но В... был настолько тактичен, что сделал вид, будто ничего не заметил; Дора тоже сообразила только после того, как уже сказала. Действительно, это абсурдно, что каждое простое слово имеет такой смысл. Я буду теперь очень осторожна в разговоре, чтобы, в конце концов, тоже не сказать какой-нибудь двусмысленной фразы. Во французском языке то же самое, говорит Mad... Как это в английском — мы не знаем, а спросить это пугало-мисс — нет, это можно с ума сойти от смеха. Она, может быть, даже не знает простейшего. Теперь я знаю гораздо больше Геллы, но я не могу ей этого сказать, чтобы не предать Дору и Mad... Быть может, мне удастся ей намекнуть, чтобы она в разговоре была как можно осторожнее и не сказала какой-нибудь двусмысленности. Это, в конце концов, мой долг подруги.

23 мая. Да, я совершенно забыла. На прошлой неделе у Освальда были письменные выпускные экзамены. Он каждый день посылал маме открытку, и она страшно волновалась, так как в письмах он все время острил довольно неудачно и никак нельзя было понять, знает он что-нибудь из своих предметов, или нет. Мы с Дорой безумно счастливы; следующий понедельник — едем с женой надворного советника и ее племянницей, которая поступает в консерваторию, на аэродром. Старший лейтенант Штрейндц тоже будет летать. Мы поедем, конечно, в автомобиле, так как по железной дороге это гораздо сложнее. Виктор, конечно,

тоже придет, но он будет с несколькими офицерами. Это очень грустно, так как если бы он ехал с нами в автомобиле, было бы гораздо веселее. Да, забыла: сегодня я выручила класс: к нам пришел окружной инспектор, был у нас сперва на уроке истории, а потом немецкого языка. И я была единственная, которая помнила, что нам рассказывала г-жа М. про сущность басни. И господин инспектор очень меня хвалил, а г-жа М. сказала потом:

— Это правильно, на Лайнер можно положиться; она имеет серьезные познания.

И во время прогулки она была так мила со мною:

— Знаешь ли, Лайнер, что я должна попросить у тебя прощенья?

Я совершенно растерялась, а Гелла спросила:

— За что?

Она ответила:

— Мне казалось, что в этом году ты меньше интересуешься немецким, чем в прошлом; но ты блестяще себя реабилитировала.

Потом Гелла свазала:

— Ну, г-жа М. не так-то уж ошибается, если вспомнить только, как мы занимались в прошлом году, лишь бы знать урок, а какие мы теперь стали!!! Ты знаешь, ведь...

В этом Гелла совершенно права, но ведь это не может мешать учиться: нельзя же вечно говорить только об этом. И к тому же для такого ангела, как г-жа М., учишься всегда хорошо. Гелла утверждает, что я была красна, как рак, от гордости, так как могла ответить все словами г-жи М. Но это неправда; во-первых, я совершенно не была горда, а во-вторых, я сама не понимаю, как это я могла все так хорошо ответить. Я чувствовала

только, что г-жа М. отчаянно злится, что никто не поднимает руки, и тогда я встала.

25 мая. Боже, я могу себе дать пощечину, нет, сотню пощечин. Что со мной произошло! Теперь мы не можем ехать на аэродром. Папа разрешил нам ехать вместе только потому, что Виктор в Линде, и папа думал, что он останется там еще две недели. Сегодня во время обеда я проболталась и сказала:

— Для пятерых, к сожалению, нет места в автомобиле. Если же Эльза не поедет, то Лейтенант может ехать вместе с нами. — Дора толкнула меня под столом, а папа страшно рассердился и сказал:

— Вот как, этот летун тоже едет. Нет, мои дорогие, это не пройдет. Я сейчас же откажу г-же надворной советнице. Я никогда не говорил, что мне приятно знакомство с этим господином, и теперь я его запрещаю! Это он сказал, обращаясь к Доре. Дора ничего не ответила, но не ела ни пирожного, ни десерта, а когда мы были снова в своей комнате, она обрушилась на меня:

— Ты это сделала нарочно, ты подлый человек, или, вернее, незрелый ребенок, на которого я никогда не должна была полагаться.

Это уж, действительно, чересчур, — я нарочно сказала, как будто я ей завидую. И к тому же я сама наказана, так как мне всегда очень приятно его присутствие в виду того, что он между нами не делает ни малейшей разницы и со мной всегда такой же, как и с Дорой. Конечно, мы совершенно не разговариваем между собою, и меня злили, главным образом, ее заявления, что она жалеет о каждом слове, которое она мне сказала, что это был бисер, разметанный перед свиньей... Это уж верх подлости! Значит, я свинья; но кто же из нас больше

откровенничал, я может быть? Значит, теперь я знаю, что с ней об этом больше никогда в жизни говорить нельзя. У меня, слава богу, есть еще Гелла. Вообще, та про меня никогда бы ничего подобного не только не сказала, но и не подумала бы.

26 мая. Мы не спали всю ночь; Дора плакала навзрыд; я слышала несмотря на то, что она старалась это скрыть; я тоже плакала и при этом все время думала, как бы сделать так, чтобы Виктор не подумал бы про меня чего-нибудь плохого. Это было бы для меня ужасно. Тут мне пришел на ум один выход: случай—нет, я должна назвать это счастьем—помог мне. Виктор не провожает нас больше по утрам, так как девочки из пятого класса нас несколько раз видели, а только заходит к часу за Дорой. Утром я быстро позвонила ему по телефону-автомату, так как дома я не доверяла себе. Доре было так плохо, что она не могла пойти в школу, и я отправилась вдвоем с Геллой. Я телефонировала так, как будто его вызывает товарищ. Сперва подошла горничная, а затем он. Я сказала ему.

— Я тут совершенно не при чем, вы не должны обо мне думать плохо, но я должна вас видеть в час, чтобы переговорить, в виду того, что Дора заболела. Вы должны ждать на углу... улицы.

Во время уроков я так волновалась, что совершенно забыла, какие уроки нам заданы. В час он аккуратно был на условленном месте, и я рассказала ему все. Он был очень мил и утешал меня; он—меня! Это немножко иначе, чем отношение Доры. Я была так взволнована, что чуть не плакала, тогда он обнял меня за талию и, войдя в ближайше ворота, вытер мне слезы своим носовым платком. Этого я никогда не скажу Доре. Он

просил меня потом, чтобы я была мила и добра к Доре, так как ей много приходится терпеть. Что она должна терпеть, я не знаю, но ради него — он действительно этого заслуживает — я положила ей после обеда на письменный стол записку, в которой я писала:

«В... просил тебе кланяться и надеется, что ты к понедельнику выздоровеешь. Одновременно большое спасибо за книгу».

Записку я вложила в «Габриэля», которого она мне дала прочесть, и демонстративно положила на стол. При чтении она сделалась совершенно красной и, проглотив несколько раз слезы, сказала:

— Ты его видела? Где и когда?

Тогда я ей все рассказала, а она совсем расчувствовалась и сказала.

— Ты очень хорошая девочка, только ужасно ненадежная.

— Почему ненадежная?

Тогда она сказала:

— Да, ненадежная, так как так проговариваться просто невозможно; это немыслимо; а затем, я постараюсь забыть твою вину. Ты уже прочла «Габриэля»?

— Нет, — говорю я, — но я не читаю тех книг, которые принадлежат людям, с которыми я в ссоре.

В конце концов мы помирились, но, конечно, больше не разговаривали, и про случай с носовым платком я умолчала.

29 мая. Десятого или двенадцатого июня мама с Дорой уезжают во Франценсбад, так как обе должны брать грязевые ванны. И потом папа сказал, что так Дора скорее всего забудет старое и не будет ходить с поникшей головой, как больной песик. Сегодня Дора рассказала мне очень интересную вещь.

Холостые мужчины имеют книжечки, которые им дают возможность посещать «известного рода» дам на Канале и на Кертнерштрассе. Им, по словам Доры, мужчины платят не то десять гульденов, не то десять крейцеров. В одном классе с Дорой учится девочка, отец которой служит полицейским врачом; мужчины являются к нему на осмотр ежемесячно, и если они оказываются больными, их к этим «дамам» не допускают. Поэтому-то ни одна горничная не остается служить у Прейссов. Вчера, принимая ванну, я случайно заметила, что у меня есть на теле линия, которая показывает, что я могу род..., но не больше двух, так как линия эта очень слабо очерчена. Мои мысли так поглощены всем этим, что во время занятий, перелистывая страницу, я часто не помню, что прочла на предыдущей. Это очень неприятно, так как скоро должен прибыть новый окружной инспектор по математике и другим предметам; мне не хотелось бы осрамиться, так как инспектора, вероятно, говорят между собой о том, кто из нас знающий, кто нет.

30 мая. Концерт был великолепен; когда я слышу хорошую музыку, я должна постоянно сдерживаться, чтобы не расплакаться. Это, конечно, очень глупо, но меня одолевают печальные мысли, даже когда я слушаю такого композитора, как Беркель. Вот когда Дора играет венгерские танцы Брамса, плакать мне не хочется. Я только злюсь, что сама не могу их так сыграть. Я бы сумела, но у меня не хватает терпения упражняться. Я никому не говорю, что от музыки мне хочется плакать, даже Гелле, от которой я ничего не скрываю, разумеется, кроме того, что касается Мад... Вчера я оскандалилась. Так, по крайней мере, находит Дора. Я не помню хорошенько, как это случилось; за ужином зашла речь о книгах и я сказала:

— Боже мой, из книг, право же, ничему нельзя научиться; в жизни все не так, как пишут в книгах.

Папа очень рассердился и сказал:

— Радуйся, недоросль, что есть книги, из которых ты можешь чему-нибудь научиться. Когда кто-нибудь не понимает того, что читает, он говорит, что книга ничего не стоит.

Дора бросила на меня многозначительный взгляд, но я ее не поняла и продолжала:

— Да, но в словаре много вранья.

— А что тебе понадобилось в словаре? Придется спрятать ключ в более надежное место.

К счастью, Дора пришла мне на помощь, сказав:

— Гретель хотела посмотреть в словаре что-то о возрасте слонов и мамонтов и оказалось, что там не то, что говорил в прошлом году профессор Ригель.

Я была спасена. Дора прекрасно умеет притворяться. Это я замечаю и в других случаях. Вечером она мне устроила скандал:

— Поумнеешь ли ты когда-нибудь, глупая девчонка? Недавно эта глупость по поводу Виктора, а сегодня опять то же самое. На этот раз я тебя выручила, но больше не рассчитывай.

Потом она стала писать письмо, конечно, «ему». Мы с Геллой недавно вычитали в словаре относительно деторождения и беременности, и я одна — про вытр... средства. Мы читали вместе про зарождение, и я, ничего не говоря, сделала на своем платке узел, и вчера я снова отыскала это место. Чего же бояться Мад., если действительно есть такие средства? Но каждый врач может это определить и, кроме того, от этого очень легко умереть. Знает ли вообще Мад. об этом? Мы говорили

еще о разнице между мужчиной и женщиной, говорили и о том, что Гелла позволяет Анне, которая у них живет уже двенадцать лет, мыть ее, когда она принимает ванну. Этого я бы ни в каком случае не делала, я бы никому не позволила мыть себя, разве только маме; Доре ни за что бы не позволила, ей совершенно незачем знать, как я выгляжу. Сиделка в санатории сказала Гелле, что она сложена, как маленькая нимфа, — красиво и пропорционально. Но Гелла не видит в этом ничего особенного; все девушки имеют такую фигуру, и женское тело вообще — художественное произведение природы. Это она, конечно, где-нибудь вычитала; что же это, собственно говоря, значит «художественное произведение природы»? Во всяком случае, это должно бы называться «художественное произведение, созданное мужчиной и женщиной»!!!

30 мая. Дора и мама уезжают шестого июня, сейчас же после троицы, во Франценсбад. Доре сделали еще один костюм, серый с голубыми полосками; вчера мы получили наши соломенные шляпы; они с белыми лентами и розами. Гелла и все остальные находят, что шляпа мне очень к лицу. Недавно чуть не произошла ужасная история; когда я пошла телефонировать, я взяла с собой свой зонтик с розовой ручкой, который мне подарили на рождество, и забыла его у автомата; после меня говорила барышня из табачной лавки, и так как она меня знала, то отдала зонтик привратнице, которая отнесла его к нам. Слава богу, я не растерялась и сказала, что, покупая марки, я забыла зонтик в лавке; никто не обратил на это внимания.

31 мая. Я, собственно говоря, должна была переселиться к Гелле на время отсутствия Доры и мамы. Но как бы я ни любила Геллу, этого я не сделаю, я обяза-

тельно останусь с папой, Что же ему одному сидеть за столом, и с кем ему говорить по вечерам? Папа был тронут и погладил меня по голове так, как только он один умеет. Даже мама так не умеет. Итак я во всяком случае остаюсь дома. Теперь цветы подешевели; я каждый день буду покупать на базаре маленький букет, чтобы всегда были свежие цветы. Какая глупость идти мне к Бр., к чему? Рэзи уже так давно у нас, она все знает и без мамы, а обо всем остальном я могу позаботиться сама. Папа ни в чем не будет нуждаться.

1 июня. Боже мой, что только мы сегодня пережили. Это отвратительно; значит это правда: если кого-нибудь очень любишь, то раздеваешься до-гола. Ни я, ни Дора этому никогда не верили, хотя Мад... нам на это намеркала; но это так. Мы в этом убедились собственными глазами.

С Дорой случилась большая неприятность; ей стало так плохо, что ее чуть не вырвало и она с трудом добралась до своей комнаты. Чуть-чуть мы не попались. Мама сейчас же послала за доктором; он сказал, что Дора положительно переутомлена; хорошо, что она через несколько дней покинет Вену. Девицам не надо бы так много заниматься науками, это не годится. Потом он обратился ко мне:

— А у тебя почему такой вид, откуда эти впалые глаза?

— Меня Дора напугала, — говорю я.

— Глупости, — говорит доктор, — от этого не делаются круги под глазами.

— Значит — это правда, что плохо выглядишь, когда вечно думаешь о таких вещах. Но что с этим поделаешь? И Гелла говорит: круги под глазами — это ужасно интересно, и мужчинам это нравится у девушек.

Мы завтра уже свободны и задумали прогулку на Каленберг и Германскогел, но ничего из этого, вероятно, не выйдет. Теперь уже около одиннадцати, я безумно устала от писания и должна пойти спать, но засну ли я?

3 июня. Папа был со мной и с Геллой на Каленберге; мы замечательно провели время. После обеда папа читал в гостинице газету, мы пошли собирать цветы, и тут я Гелле рассказала все, что случилось в пятницу. Она была просто поражена, тем более что она не слышала намеков Мад... по поводу раздевания. Она тоже не выйдет замуж, это слишком неприятно, нет, слишком противно. Доктор говорил еще: это вечное сидение за книгами — яд для молодых девушек в период развития. Если бы он только знал, что мы видели! Гелла ужасно огорчена, что ее не было с нами. Ей следовало бы радоваться; еще раз я бы не желала такого зрелища, и я не забуду его всю свою жизнь. Что в сравнении с ним случай под воротами! А тут Гелла еще шутит и говорит:

— Подумай-ка, если бы это был Виктор!

— Перестань, перестань, — воскликнула я, и папа, думая, что мы спорим о чем-то, говорит:

— Что с вами, у вас тоже крупное расхождение во взглядах?

Если бы он знал о чем идет речь!!! С пятницы Освальд тоже здесь, он приехал в половине одиннадцатого. Но вчера он не участвовал в нашей прогулке, хотя папа очень настаивал; он говорил, что ему слишком скучно гулять с «подростками», другими словами, мы слишком малы для него, — это неслыханная наглость; в особенности по отношению к Гелле. Она говорит, что она просто-напросто будет его игнорировать. Я, как сестра, не могу этого делать, но пусть он не ждет, чтобы я стала ему все

подавать и приносить, чего он ни захочет. Оскорблять никто не смеет даже свою сестру. Теперь Дора все говорит мне:

— Как противно, что приходится терпеть такую гадость (то-есть что мы видели...), когда выходишь замуж.

Ложась спать, я боюсь, что мне это всю ночь будет сниться, а Доре это уже приснилось. Она говорит, ей стоит только закрыть глаза, как она все видит до мельчайших подробностей.

4 июня. Теперь мы понимаем, что папа думал, говоря недавно о докторе Диллере и его жене: «Эти двое совершенно не подходят друг к другу». Я тогда думала, что это относится к тому смешному виду, когда маленькая дама идет под руку с таким высоким, крупным господином. Но это, оказывается, второстепенное дело; главное — нечто совсем другое!!! Гелла и я рассматриваем всех идущих под руку с этой точки зрения, и мы, возвращаясь домой, не перестаем потешаться и хохотать до упада. Хотя в этом, собственно говоря, нет ничего смешного, в особенности для жены.

5 июня. Сегодня до обеда мама и Дора были у на-дворного советника Р. с прощальным визитом, но никого не застали, то-есть жена советника была наверное дома, но велела сказать, что ее нет, так как они очень обижены на нашего папу. После обеда мы с Дорой пошли за разными покупками и встретили Виктора; это было, конечно, условлено. У Доры были потом заплаканные глаза; они пошли в Минаритенкирхе, а я тем временем гуляла по рынку. Он уезжает в Америку в начале июня, когда Доры еще не будет здесь. Он ей подарил очень красивую почтовую бумагу с его собственными набросками, на которой она должна только ему писать, и медальон с его

карточкой. А она завтра пошлет ему через меня свою фотографию. Я ужасно рада. Вообще, с некоторых пор Дора гораздо милее со мной.

6 июня. Итак сегодня утром мама и Дора уехали. Так как мама никогда надолго не уезжала, то я очень плакала, и она тоже. Дора тоже плакала, но я хорошо знаю, по ком. Теперь мы с папой вдвоем. Он за обедом назвал меня своей маленькой хозяйшкой. Ведь это восхитительно. К сожалению, у нас очень тихо, потому что двое не говорят столько, сколько четверо. Даже немного жутко. С Рэзи я сегодня говорила кое о чем, виденном накануне. Самым ужасным я нахожу, что была вся его... это просто мерзко; Дора тоже говорила недавно, что это подло. А Рэзи заметила, что они должны были, по крайней мере, спустить жалюзи, чтобы ничего не было видно: так поступают приличные люди. Значит, приличные люди вообще не раздеваются совсем, или, по крайней мере, прикрываются более приличным образом. Потом Рэзи мне рассказывала еще разные вещи про банковского служащего, живущего напротив, и про его жену, то-есть так называемую жену. Подозревают ли ее родители что-нибудь и чем она объясняет, то, что она не живет дома. Рэзи смеялась до полусмерти, когда я расспрашивала ее и болтала ужасные глупости. Повидимому, она сама точно не знает и прикрывает свое незнание смехом; ей просто стыдно, что она этого не знает, и тем более, что она первая об этом заговорила. Удивительно, как мне это никогда не приснится. Хотела бы я знать, действительно ли Дора никогда не видит таких снов, или она их скрывает от меня. Что у Геллы был позавчера такой сон, она положительно соврала, она ведь ничего не видала. Просто счастье, что ее тогда не было; она сама

говорит, что она бы громко расхохоталась. Ну, я думаю, что — при таком зрелище — ей было бы не до смеха.

7 июня. После обеда мне становится ужасно скучно и вечером перед сном также, тем более что мы с Дорой очень сблизились в этом году, и, после истории под воротами, у нас всегда было с ней о чем поболтать. Мне этого очень не хватает. Было бы очень хорошо, если бы Гелле позволили приехать к нам на месяц. Но она не хочет. Сегодня у папы есть работа, я сижу одна, и мне хочется плакать.

9 июня. Как раз позавчера, когда мне было так тяжело на душе, заходит в комнату Рэзи, чтобы приготовить мне постель; мы разговорились о новобрачных, живущих напротив, и тут она мне рассказывает отвратительные вещи про другую молодую чету, у которой она когда-то служила; она от них ушла, потому что они всегда вместе купались. Она подозревала, что там что-то происходило. Потом она мне рассказала про старого господина, который хотел с ней что-то затеять, но она, конечно, не пожелала; он был женат и ни в каком случае не женился бы на горничной, так как он был большим чиновником. Вчера папа мне говорил:

— Ты, бедная моя деточка, ты так одинока — только смотри, Рэзи не подходящее для тебя общество; если ты хочешь поболтать, приходи ко мне.

Тут я сделала глупость, я страшно расплакалась и говорю:

— Не сердись, папа, пожалуйста, я вообще никогда больше не буду говорить о таких вещах и не буду о них думать.

Папа сначала не знал, о чем я говорю, но потом он, вероятно, догадался, потому что был ужасно мил со мной. Он сказал:

— Нет, Гретель, не порть себе свою молодость такими вещами, и если ты чего-нибудь не понимаешь, поговори с мамой, никогда не говори с прислугой; девушка из хорошего дома должна уметь себя держать. Пообещай мне это.

И несмотря на то, что я такая большая, он посадил меня к себе на колени, как маленького ребенка, и ласкал меня, потому что я так плакала.

— Успокойся, мой маленький мышонок, я не хочу, чтобы ты стала такой нервной, как Дора. Поделуй меня, моя деточка, я пойду с тобой в твою комнату и останусь, пока ты не заснешь.

Конечно, я нарочно долго не засыпала — до четверти одиннадцатого. И мне приснилось, что папа лежит в Доринной кровати; проснувшись, я сейчас же осмотрелась, чтобы проверить, правда ли это. Но, конечно, это был только сон.

10 июня. Завтра нам предстоит большая школьная прогулка; я страшно рада: провести целый день с г-жей М. и, вдобавок, без учения. Мы отправляемся к Железным воротам. В прошлом году не состоялась большая прогулка из-за четвертого класса; ученицы не захотели отправиться на Аннингер, предпочли Гохинэберг, но на это не согласилась наша директриса.

13 июня. Была великолепная прогулка. Мы с Геллой не отходили от г-жи М.; Франке говорила нам после обеда:

— Скажите на милость, что вы так пристали к г-же М.? С вами слова не скажешь.

Тогда мы пошли с Франке по лесу и она нам рассказала про одного парня, восьмиклассника, который безумно в нее влюблен. Она воображает вообще, что все молодые

люди в нее влюблены. Это нас не интересовало, но потом она нам сообщила, что г-жа М. тайно помолвлена с одним профессором из Лейпцига или из какого-то другого германского города. Двоюродная сестра Франке делает г-же М. шляпы, и она знает это совершенно определенно. Ее родители против этого брака, потому что он еврей, но они любят безумно друг друга и они все-таки поженились.

Когда мы вернулись из леса, преподаватель закона божьего, очень хорошо относящийся к г-же М., обратился к ней:

— Г-жа М., вы потеряли своих телохранителей.

Все очень смеялись, так как мы в эту минуту как раз появились. Папа встретил нас с Геллой и, так как было уже почти одиннадцать часов, Гелла осталась у нас ночевать. Это было очень мило; мне только было жаль, что я ничего не могла рассказать папе. Утром, вставая, мы ужасно шалили, брызгали друг в друга водой и чуть-чуть не опоздали в школу. Преподаватели были еще в хорошем настроении, в том числе и профессор Вильке, на которого мы весь день не обращали внимания; он к нам присоединился после обеда, встретив нас на обратном пути. Нам кажется, что он тоже влюблен в г-жу М., он не отставал от нее ни на минуту и из-за нее, вероятно, и отправился за нами. Кроме него из профессоров никого не было, у них были уроки в разных гимназиях.

14 июня. Я в большом волнении: когда мы возвращались сегодня в девять часов из школы, мы услышали сзади громкое бряцание сабли, вернее, Гелла услышала, она всегда раньше всех замечает такие вещи.

— О, боже мой, как этот о... торопится.

Она оглядывается:

— Послушай, это Виктор нас догоняет.

И в самом деле, он уже раскланивается, обращаясь ко мне:

— Фрейлейн Рита, можно вас просить на одну минутку; извините, фрейлейн Гелла.

Он меня всегда называет Ритой, и то, что он знает имя моей подруги, показывает, какой он милый, приятный человек.

Гелла тотчас же отвечает:

— Пожалуйста, г-н обер-лейтенант, я вам не буду мешать. Вам, вероятно, нужно поговорить о чем-то важном.

Она переходит на другую сторону, он провожает ее глазами:

— Ваша подруга — милая, воспитанная девушка.

Он переходит к самому главному. Он, хотя уже получил два письма от Доры, но не имеет ответа на свое письмо, он его послал до востребования, а она не может за ним пойти на почту. Тут он меня ужасно просит вложить его письмо в мое и послать его Доре. Но ведь мама, конечно, читает мои письма, поэтому я объясняю ему, что это не так просто; однако я знаю превосходный выход — я напишу маме и Доре одновременно, чтобы Дора успела вынуть его письмо. Виктор был очень счастлив, он сказал:

— Вы — гений и отличная маленькая интриганка, — и поцеловал у меня руку.

Слово «маленькая» он бы мог выкинуть; «маленькие» — интриганками, я думаю, не бывают. Гелла шла все это время по другой стороне и видела, как он поцеловал у меня руку. Она утверждает, что я ее не отдернула, а протянула ее... как важная дама, немного согнув в кисти.

Она говорит, что у нас, дочерей хороших семей, это делается инстинктивно. Это очень возможно, ведь с умыслом я, конечно, этого не сделала. После обеда я написала эти два письма: большое маме и коротенькое Доре — только для вида, и сама отнесла их на почту.

16 июня. Теперь я уже так привыкла быть с папой вдвоем, что я совершенно не скучаю. Вечером мы часто едем в Пратер или идем ужинать в какой-нибудь сад; Гелла, конечно, всегда с нами. Мне любопытно знать, что напишет Дора. Вот что я забыла отметить: на мой вопрос, действительно ли Виктор едет в Нью-Йорк, он ответил: «ничего подобного, это был холостой заряд моего старика». Так он называет своего отца — надворного советника. Это не очень прилично; поэтому, вероятно, папа его терпеть не может. Папа вообще не очень любит офицеров, кроме отца Геллы, который уже довольно стар. О, боже, если бы Гелла это прочитала, она бы пришла в ярость; но ее отец, по крайней мере, года на четыре, на пять старше моего папы.

17 июня. Г-жа М. больна, но мы не знаем, что с ней. В школе было ужасно пустынно. Директриса замещала ее, во время перемены мы были без надзора. Не воспаление ли слепой кишки у нее? — это было бы ужасно.

18 июня. Ее все еще нет. Г-жа Штейнер говорит, что у нее сильно воспалено горло, что ее не будет в течение всей недели.

19 июня. Сегодня получилось письмо от Доры. Я возмущена. Ни слова о выказанной мною преданности, только: «Спасибо за исполнение маленького поручения». Это просто неслыханно; он бы так не поступил!!! Я, во всяком случае, запомню это на будущее время. Гелла думает, что она из предосторожности отделалась намеком.

Но это не так. Она отлично знает, что папа никогда не читает наших писем. Ей просто кажется, что так и должно быть. Со вчерашнего дня я не хожу в школу, в первый раз за все время, что я там учусь; у меня утром разболелись горло и голова так, что папа меня не пустил. Днем стало легче, но сегодня утром мне было опять хуже, и я еще просижу дома два-три дня. Папа хотел послать за врачом, но это, право, лишнее.

20 июня. Сегодня, убирая комнату, Рэзи пыталась опять заговорить о разных вещах. Я остановила ее, сказав, что не очень люблю слушать такие разговоры. Тогда она стала меня просить не выдавать ее маме и папе, скрыть от них, что она нам тогда рассказала о молодых: она моментально потеряла бы место и ей было бы это очень жаль.

21 июня. У меня теперь еще дрожат колени, хорошая история могла бы получиться! К счастью, папа был на заседании. В половине седьмого мы с Геллой сидим и разговариваем: вдруг раздается звонок телефона. Рэзи тоже, к счастью, за чем-то ушла, и я подхожу к телефону; и кто же вы думаете говорит? Виктор. Ему необходимо меня повидать завтра утром или в час дня; сегодня в час он меня напрасно поджидал. Само собою, я ведь была больна и сейчас еще не совсем здорова. Завтра, значит, я во всяком случае должна пойти в школу. Какое счастье, что не было ни папы, ни Рэзи — она могла бы заподозрить что-нибудь. Мне было бы страшно неприятно просить ее меня не выдавать. Гелла, со свойственной ей смелостью, взяла у меня трубку и говорит:

— Пожалуйста, не делайте этого больше никогда, вы страшно подводите мою бедную подругу.

Я рассердилась, но Гелла говорит, что он, положительно, заслужил этот укор.

Завтра мы идем в концерт, я надену свое новое белое платье. Мне, в сущности, нравится, когда сестры одеваются совершенно одинаково. Я теперь зачесываю волосы в виде улиток из кос: папа это называет «коровьим гостинцем», но все говорят, что эта прическа мне очень к лицу.

22 июня. Он был восхитителен, когда, направляясь к нам, проговорил:

— Найдет ли раскаявшийся грешник милостивый прием?

Каждой из нас он преподнес по роскошной розе. Потом он вручил мне письмо со словами:

— От вашей энергичной подруги нам не стоит ничего скрывать, не правда ли?

Собственно говоря, я решила больше не пересылать его писем, но я не знала, как ему отказать, чтобы его не обидеть,—ведь он не виноват в Дориной наглости. Сегодня же было особенно неудобно об этом заговаривать, во-первых, из-за преподнесенных роз, и, во-вторых, из-за Геллы. Все равно, это повторится не более двух-трех раз, и не стоит из-за этого поднимать разговоры. Но Дора, право же, не заслужила этого. Франке грубая девушка. Она нас тогда видела и спросила на следующий день:

— Что за прекрасного сына Марса вы себе подцепили?

Гелла сейчас же ее остановила:

— Не употребляй, пожалуйста, таких вульгарных выражений по отношению к кузену Риты.

— Ах, вот как, это был ее кузен, кузен — это происходит от слова «Kuss» (поцелуй), не правда ли?

С тех пор мы очень мало разговариваем с Франке. Совсем с ней прервать отношения — слишком опасно, не знаешь, как все сложится; но если с ней разговаривать немного, она не может обидеться.

23 июня. Вчера был у нас старый окружной инспектор, тот, который приходит на урок математики. Он так мил и приветлив, и все дети у него все знают; мы его предпочитаем инспектору по языкам. Вербенович ужасно кичится тем, что он ее похвалил. Боже мой, сколько раз меня хвалили, но разве я это ставлю себе в особую заслугу. Вчера меня, впрочем, не вызывали, ведь я отсутствовала четыре дня. Г-жа М. тоже сегодня пришла. Она очень побледнела и плохо выглядит, бог знает, что с ней; так жаль, что на улице к ней нельзя подходить с тех пор, как в прошлом году случилась история с бисерной сумочкой фрейлейн Шт. Правда, на поклон она отвечает очень любезно, но ни с кем из учениц по улице не ходит, хотя Вербенович отвратительно навязчива и все бежит с ней рядом.

26 июня. Какая глупость, в самом деле, что меня охватывает ужасный страх при причастии. Я все боюсь, чтобы у меня не выпала облатка. Мне чуть дурно не стало от страха. Гелла говорит, что это должно иметь какую-нибудь причину, но я, право, знаю только одно, что, после несчастья с Луттер из третьего класса, мне стало еще страшнее. Гелла говорит, что я могу перейти в протестантство, но этого я ни в каком случае не хочу; после причастия чувствуешь себя как будто очищенной и как-то много лучше, чем раньше. Но, к сожалению, это чувство ненадолго.

27 июня. Мама действительно больна. Папа недавно сказал мне об этом и был так страшно мил.

— Да сохранил вам бог вашу добрую мать. Ее здоровье ухудшается.

— Папа, что, собственно говоря, с мамой?—спросила я.

Папа ответил:

— Милое дитя, у нее коварная болезнь, которая долго подготавливалась и неожиданно проявилась.

— И операция неизбежна?

— Будем надеяться, что обойдется без операции. Но это все же большое несчастье, что бедная мама больна.

Папа так ужасно выглядел, говоря об этом, что я стала его утешать:

— Грязевые ванны должны ей помочь, зачем же она стала бы их принимать?

Папа ответил:

— Будем надеяться, милое дитя.

Мы еще долго говорили о том, что мама должна себя страшно беречь и что осенью тетя Дора, может быть, приедет к нам вести хозяйство. Я спросила папу:

— Правда ли, что ты не долюбила тетю Дору?

Но папа сказал:

— Ничего подобного, кто это тебе вбил в голову?

— Но маму ты любишь больше?

Папа рассмеялся и сказал:

— Глупая головка. Конечно, а то бы я женился не на маме, а на тете Доре.

Мне хотелось еще многое спросить у папы, но я не посмела. Как мне недостает Доры, в особенности по вечерам.

2 июля. Сегодня в школе меня ужасно рассердили. Профессор В..., этот предатель, сегодня не пришел, потому что в гимназии исповедывались и причащались. Директриса ничего об этом не знала и некому было его

заменить. Но учитель закона божьего случайно явился раньше времени, чтобы подписать отметки, и зашел к нам в класс. Но так как здесь были и еврейки, то урока он не давал, а просто беседовал с нами. Он каждую из нас спрашивал, куда она едет на лето: на мой ответ — в Родаун — Вейнбергер замечает: «боже, только в Родаун», — и еще несколько девочек подхватывают: «только в Родаун: туда можно доехать на паровике». Мне стало стыдно, так как мы до сих пор, большей частью, проводили лето в Тироле или в Штейермарке. Я это и сказала. На это Франке мне говорит:

— В прошлом году вы, как будто, тоже жили близ Вены, мне кажется, в Гайк., — она остановилась и сделала вид, будто она никогда не слышала о Гайнфельде.

Такая неискренность, но я знаю, она возмущена, что мы с ней не разговариваем со времени истории с «кузеном». Но, вот, что значит настоящая дружба. Я еще не успела прийти в себя, как Гелла сказала:

— Мать Риты сейчас в мировом курорте Франценсбаде; она больна и, по крайней мере, раз в неделю к ней туда ездит профессор М.

И учитель закона божьего тоже очень мило сказал:

— В Родауне замечательно красиво и там великолепный воздух; это будет, вероятно, очень полезно для твоей мамы, а это самое главное, не правда ли, дети? Да сохранит вам бог ваших родителей на долгие годы.

При этих словах Лампель, у которой этой зимой умерла мать, страшно расплакалась, и я тоже не могла удержаться от слез, так как я вспомнила свой разговор с папой. Но Вейнбергер и Франке подумали, что я плачу из-за того, что еду только в Родаун. Во время перемен Франке сказала:

— Разве это стыдно, что люди едут только в Родаун, из-за этого стоит ли проливать слезы?

Но Гелла возразила:

— Пожалуйста, Лайнер могут поехать, куда им вздумается, они так состоятельны, что многие могут им позавидовать. Впрочем, ее мама и сестра и теперь во Франценсбаде, где страшно дорого, и в Родауне они тоже сняли целую виллу. Рита же плакала от огорчения, из-за болезни своей мамы, а не из-за тебя.

Мы, конечно, совсем перестали разговаривать с Франке. Мама и без того не желала этого знакомства, Франке ей очень не понравилась, когда она с ней познакомилась в прошлом году. В таких вещах у мамы, действительно, верное чутье.

6 июля. Сегодня у нас прекратились занятия. У меня все «отлично», кроме естественных наук, конечно! Ничего другого нельзя было ожидать. Предсказание... я не хочу упоминать ее имени—было совершенно правильно. Г-же М. и г-же Шт. большинство учениц принесли на прощанье цветы. В виде исключения, мы с Геллой проводили г-жу М. до трамвая. Когда мы целуем ей руку, она всегда краснеет, мы же это делаем так охотно. Летом она поедет, конечно, в... Германию, об этом Гелле нечего было и спрашивать, это само собою понятно...

8 июля. Сегодня возвращаются мама и Дора. Мы поедем на вокзал их встречать. Да, я совсем забыла. Недавно папа положил под мою салфетку совершенно новую монету в пять крон. Когда я развернула салфетку, она выпала, и папа объяснил мне: это в частичную уплату понесенных расходов по украшению стола цветами. Боже, какой папа добрый, ведь эти цветочки стоили самое большее три кроны; если они оставались свежими, я

меняла их только через два дня. Теперь я могу купить маме розы—и много; я возьму их с собой на вокзал или поставлю их ей на стол. С одной стороны, я ужасно рада, что мама возвращается, с другой, мне было так хорошо, когда мы были с папой вдвоем; он со мной говорил обо всем, как с мамой, а этого больше не будет.

10 июля. Мама и Дора выглядят замечательно; в особенности меня порадовала мама; теперь ясно видно, что она опять совершенно здорова. И если бы не была снята дача в Родуане, мы могли бы великолепно поехать в Тироль. Это, во всяком случае, приличнее, этого нельзя отрицать. Дора выглядит совсем чужой. Ведь это, наконец, смешно, в один месяц люди не меняются, но она выглядит положительно совсем другой; впрочем, она переменила прическу: волосы разделены пробором, зачесаны на уши. У меня еще не было случая поговорить с ней о «маленьком поручении», а она как будто об этом не помнит. Она должна осенью держать приемный экзамен в шестой класс, потому что она уехала на месяц раньше окончания занятий. Папа говорит, что это только проформа, и ей незачем брать с собой на дачу учебники. Девятого уехала Гелла: сначала она с мамой и с Лиззи едут в Гастейн, а потом в Венгрию к своему дяде. Без Геллы жить скучно, гораздо хуже, чем без Доры; по ней я скучала только иногда, вечерами, когда ложилась спать. Дора делает вид, будто во Франценсбаде с ней обращались как со взрослой. Но это навряд ли так, сразу видно, что она еще далеко не взрослая.

11 июля. Не пойму, что с Дорой. Уходит она всегда одна, не говорит, когда и куда, и о Викторе она даже не упоминает. Он должен же знать, что она вернулась. Завтра мы едем в Родаун и, конечно, не паровиком, а по

железной дороге. А послезавтра, тринадцатого, у Освальда устный экзамен на аттестат зрелости, так называемый «matura»; он всегда говорит «martura», так как профессора любят мучить; «martern» — мучить. Он рассказывает, что в каждом классе есть один или несколько выскочек, как у нас, например, Вербенович, они портят профессоров и из-за них профессор больше требует от других учеников. В гимназии может быть это и так, но у нас это, положительно, иначе. И сколько бы Верб... ни бегала за всеми учителями, ее никто особенно не любит, она получает хорошие отметки, но ничьим расположением она не пользуется. Мама говорит, что тринадцатое число несчастливое; если бы только у Освальда все хорошо обошлось. Она потому вчера пошла к обедне, а не, как обычно, к девятичасовой утренней службе. Я же не подумала о том, чтобы помолиться за Освальда, мне кажется, он, во всяком случае, выдержит.

13 июля. Славу богу, Освальд телеграфировал, что выдержал, то-есть он телеграфировал свое любимое выражение: «Кончил — ликую». По крайней мере, маме не пришлось волноваться, как в то время, когда он держал письменный экзамен и отделялся остротами. Он может приехать только семнадцатого, так как пирушка по поводу окончания будет не раньше пятнадцатого. Папа тоже страшно рад. Здесь очень мило; мы, конечно, не занимаем целой дачи, как Гелла нарочно придумала в школе, а только квартиру во втором этаже; в первом этаже живет молодая дама, то-есть молодожены!! Этого слова я слышать не могу без содрагания и без смеха. Рэзи тоже, должно быть, вспомнила старое; рассказывая о нижних жильцах, она многозначительно посмотрела на Дору и на меня. У них, впрочем, есть уже ребенок, значит они не

только что поженились. Хозяин дачи, который живет рядом с нами, обещал мне устроить в саду качели. Дача без качелей отвратительна.

16 июля. Сегодня, наконец, Дора заговорила о Викторе, но очень холодно: видно, у них какие-то перемены. Она могла бы мне рассказать; она даже обязана это сделать, мое участие в этом деле дает мне на это право. Я его не видела с двадцать седьмого июня, после того как отправила его последнее письмо; что-то произ... нет, это слово не подходящее, оно обозначает нечто другое, что-то было между ними, но что? Гелла в восторге от Гастейна, по ее словам, меня ей очень недостает. Это я могу вполне понять, я испытываю то же самое по отношению к ней. Перед концом учебного года я получила также письмо от Ады; она спрашивает, не приедем ли мы в этом году в Г..., у нее есть многое, о чем она хотела бы со мной поговорить, ей нужен мой совет. Я бы ей охотно посоветовала, но я не знаю, о чем идет речь.

18 июля. Случилось что-то замечательное, мы... но нет, я должна рассказать все по порядку. Вчера приехал Освальд, он чрезвычайно весел и сказал Доре шутя, что она очень хорошо выглядит, и он, быть может, влюбился бы в нее, если бы она не была его сестрой. Перед самым ужином мама нас позвала, и я, убедившись, что только три четверти восьмого, обозлилась. Входит папа с какой-то бумагой в руках, как он часто приносит из бюро, и говорит:

— Дорогой Освальд и вы обе, я хотел вам, в особенности Освальду, доставить маленькую радость к его окончанию.

«Ага,—подумала я,—дело идет о чем-то крупном». Папа разворачивает бумагу и говорит:

— Вы, детки, часто огорчались, что мы не дворяне, как остальные Лайнеры. Мой дедушка отказался от дворянства, но я его опять приобрел, для тебя, Освальд, и для вас. Мы отныне будем называться Лайнер-фон-Лайнсгейм, как тетя Анна и дяди.

Освальд был поражен. Я первая опомнилась и поцеловала папу. Папа еще прибавил:

— Носите это имя честно.

Освальд ужасно долго откашливался и, в конце концов, сказал:

— Спасибо, отец, я буду всегда поддерживать честь этого имени,—и они обняли друг друга.

Освальд большей частью говорит «отец», а не «папа»; он говорит, что это не по-мужски. Мы были весь вечер очень празднично настроены, и мама заказала жареных кур, а папа позаботился о шампанском. Я несказанно счастлива: как прекрасно быть дворянкой. И что только скажут товарки и учителя. Я жду этого с нетерпением. Я завтра же напишу об этом Гелле.

19 июля. Это я ловко придумала. Я не хотела прямо написать: «мы теперь дворяне», а я просто подписалась: «твоя верная подруга Рита Лайнер-фон-Лайнсгейм». Рэзи я об этом сообщила сегодня утром, но папа рассердился на меня за обедом, он нашел это совершенно лишним: наше дворянство, как будто, ударило мне в голову. Этого, конечно, не должно быть, но рады этому решительно все; Дора, и та исписала целый лист, упражнялась в росчерке. Папа говорит, что мы остались теми же, кем были; но это не так, иначе чего же было хлопотать. Освальду будет легче пробиваться, но дело не только в этом. Хозяин дачи и жена его узнали от Рэзи о нашей новости и поздравляли нас сегодня после обеда.

20 июля. Освальд здесь не остается, ему тут слишком скучно, он поднимется пешком на Альпы, на Гросглекнер, а потом на Каравалкен. Говоря о папе, он тоже называет его «стариком»; я это нахожу ужасно вульгарным; Дора говорит, что это прямо «фривольно»!!! но это выражение имеет еще и другое значение.

24 июля. Сегодня я получила ответ от Геллы; она поздравляет меня невероятно и пишет, что была в первую минуту совсем ошеломлена; она думала, что я съума сошла или просто глупо сострила. Но ее мама уже знала об этом от ее отца, который прочел это, не то в правительственной газете, не то где-то в другом месте. Теперь мы обе дворянки, и это очень приятно. Я раньше часто огорчалась, что она дворянка, а я нет.

25 июля. Сегодня уехал Освальд. Он получил от папы на дорогу триста крон, и все это за выдержанные экзамены.

— Я тоже сдала экзамен, — говорю я.

— Для этого нужно иметь другие мозги, чем у вас — девочек, — возражает мне Освальд.

Это наглость, г-жа М. сдала окончательные экзамены при гимназии и г-жа Штейнер тоже сдала их. Дора ответила совершенно спокойно:

— Может быть я тебе докажу, что и твоя сестра справится с этим; ты, впрочем, сам говоришь, что главное в этом деле — наглость.

Мне тоже приходит прекрасная мысль в голову.

— Этой наглостью мы не обладаем, но на экзамен мы идем подготовленными.

Мама пытается нас примирить, но мы на это не идем.

Вечером Дора говорит мне:

— Освальд безумно самоуверен, у него в отметках почти все только «удовлетворительно», и он едва-едва проскочил.

Да, я вспомнила об одной глупости Освальда; сейчас после телеграммы «кончил — ликую» пришла одна, поданная на четыре часа раньше, но запоздавшая, в ней было одно слово: «кончил». Мама, боясь, что это еще не значит, что кончил хорошо, и что вторая телеграмма послана с отчаяния, получила новый предлог для волнения. До таких глупых шуток ни Дора, ни я не додумались бы. Папа всегда говорит:

— В университете Освальд остепенится.

Но он сегодня заявил, что в университет он не пойдет, он поступит в горный институт, а потом, может быть, на юридический факультет.

29 июля. Здесь ужасно скучно. Я не знаю, что мне делать; весь день читать или проводить на качелях — невозможно, а Дора так же скучна, как была раньше; я бы сказала — еще скучнее; она никогда не спорит, а говорить об определенных вещах она тоже не хочет. Она совершенно поглощена маленьким мальчиком молодой дамы из первого этажа: ему десять месяцев, и я не понимаю, что она находит в таком дурачке; она его таскает на руках и позавчера он ее всю обмочил; это ей поделом. Ей это было очень противно, он ее... надеюсь, она теперь излечилась. Слава богу, завтра день моего рождения, это внесет некоторое разнообразие. После обеда мы пойдем на Параплюберг, надеюсь, без «параплюи». Папа приедет уже к часу, чтобы в два или в половине третьего можно было отправиться. Гелла прислала мне ящик с замком для писем и так далее (!!!), конечно, наполненный конфетами, и очень длинное послание о том, как она проводит время в Гастейне. Они остаются только четыре недели, потому что там безумно дорого, булочка стоит пять крейцеров и бутылка пива — крону. А булочки так малы, что к

завтраку и к послеобеденному кофе можно было бы съесть три таких. Но в гостинице замечательно элегантно, имеется несколько грумов; среди гостей масса американцев и много англичан, даже семья австралийского консула из Сиднея. Я почти целый день вожусь с двумя таксами — их зовут Макс и Мориц, хотя один из них, вероятно, самка. Собственно говоря, этого слова не следует писать, оно имеет еще и другое значение.

ТРЕТИЙ ГОД

(от 13 до 14 лет)

31 июля. Вчера был день моего рождения. Мама мне подарила радио-часы, такие, как мне хотелось иметь для моего ночного столика, со светящимся циферблатом. Это, конечно, для долгих зимних ночей; кроме того, венские вышитые воротники; папа подарил мне «Дневник Шалуна»; эту книгу сиделка одолжила Гелле, когда она была в санатории; великолепная книга, но папа находит ее глупой, потому что мальчик никак не мог проделать всего того, что ему приписывают. Мне подарили еще новую ракетку, в очень элегантном кожаном футляре. Дора мне преподнесла теннисные шары. Потом карточки для писем лунного цвета с серебряными уголками. Дедушка и бабушка прислали корзину с вишнями, черешнями, красной смородиной и земляникой — последнюю исключительно для моего дня рождения, а тетя Дора из Берлина — три галстука для зимних блуз. После обеда мы были в парке. Было бы довольно весело, если бы мама могла пойти с нами, или если бы Гелла была здесь.

1 августа. Сегодня я получила письмо от Ады: она поздравляет меня с днем рождения, думая, что он первого

августа, но цель письма другая: она очень несчастна. Она хочет вырваться из родительского дома; она не выносит «гнетущей атмосферы домашней обстановки». Она была в П. у одного артиста, которого она обожает, он ее проэкзаменовал и сказал, что у нее положительно есть драматический талант; он готов заняться ею, но только с согласия ее родителей. Она этого, конечно, не добьется. Из-за их отказа, она стала так нервна, что ей хочется целыми днями плакать или беситься, словом, она не может больше выдержать такой тоскливой жизни. Только я могу ей помочь, пишет она. Ей хотелось бы, чтобы я приехала к ней или, еще лучше, — ей приехать к нам на две или три недели, она рассказала бы и объяснила все моей матери и переехала бы на год к нам, в Вену; этот артист будет осенью в Раймунд-театре и мог бы ей давать уроки. В конце она пишет, что предоставляет моему уму и такту сделать ее самым счастливым существом на свете! Не знаю точно, что мне предпринять. На всякий случай почву я уже подготовила, я говорила о том, что мне ужасно скучно, хотелось бы видеть здесь Геллу или, по крайней мере, Аду, помирилась бы даже на Марине. «Марина ведь в Керитеи, и Ада навряд ли сможет приехать», — сказала мама. Папа тоже очень жалеет меня и за ужином спрашивает:

— Ты бы, в самом деле, хотела, чтобы Ада приехала, она ведь по возрасту гораздо больше подходит к Доре? Но, я помню, в прошлом году вы с ней были дружны. — Затем он говорит маме:

— Скажи, Берта, тебя это не стеснит, если Ада приедет?

— Нисколько, если это доставит удовольствие Гретель; она ведь в этом году не имела никаких развлечений; Дора была со мной во Франценсбаде, Освальд предпринял

великолепное путешествие, только наша малютка не имела ничего; так ты хочешь, Гретель?

— Конечно, мама, я тогда сейчас же напишу ей; мне не доставляет удовольствия, как Доре, таскать этого маленького ребенка, и, как бы ни был прекрасен «Дневник Шалуна», я же не могу проводить весь день за чтением.

Я тотчас же пишу Аде так, как будто мне непременно хочется, чтобы она приехала. Я буду несказанно счастлива, если все удастся, и Ада в самом деле станет знаменитой актрисой, как Вальтер, о которой часто рассказывала мама. Я буду причастна к тому, что Вена получит хорошую актрису, а Ада из самого несчастного создания сделается самым счастливым.

2 августа. Я Аде ничего не писала о том, что мы получили дворянство, или, как Дора выражается, что мы «восстановлены в дворянстве», так как наш род был раньше дворянским; она узнает об этом, когда приедет. Мама говорит:

— Не следует хвастать тем, чего сами не заслужили.

Это, по-моему, не совсем правильно. И если бы папа не имел таких больших заслуг перед правительством, не просиживал бы годами за работой ночи на пролет, его, вероятно, не восстановили бы в дворянстве. Я, впрочем, не понимаю, почему родители в прошлом году делали из этого такой большой секрет. Нам могли бы спокойно сказать. Папа хотел, вероятно, нам сделать сюрприз. Это ему удалось: стоило посмотреть на выражение лица Доры и обратить внимание на то, как Освальд откашливался!!! Как выглядела я, на это, кажется, никто не обратил внимания.

3 августа. Теперь я, наконец, знаю, почему переменялось отношение Доры ко мне, почему она стала со мной

обращаться так же, как до нынешней зимы. За эти четыре недели во Франценсбаде она нашла в маме настоящую подругу. Когда я заговорила сегодня о Викторе, она сказала:

— Я больше с ним не переписываюсь. — И на мой вопрос:

— Вы поссорились, и по чьей вине? — она ответила:

— О нет, я ему отказала.

— Почему ты ему отказала, ведь он не едет в Америку?

— Ну вот, милая Рита, я скажу тебе правду. Я от него отказалась, по справедливому желанию нашей матери.

Она, впрочем, теперь большей частью говорит «мать», вместо «мама». Я должна сознаться — я маму очень, очень люблю, но своей подругой я себе не могу ее представить. Как можно быть дружной со своей собственной мамой? Дора наверное не имеет понятия о том, что значит истинная дружба. Разве возможно со своей мамой говорить об известных вещах, я бы не могла ее спросить: ты знаешь, что это значит «что-то произошло» или «случилось»? И большой вопрос, знает ли она, что это. Когда ей было тринадцать-пятнадцать или шестнадцать лет, употреблялись, может быть, совершенно другие выражения, а теперешние не имели тогда никакого особенного значения. Что это за дружба, когда мама говорит Доре: «теперь тебе нельзя уходить, гроза надвигается», или — недавно вечером: «Дора, ты должна взять с собой платок». Дружбы между матерью и дочерью абсолютно не может быть так же, как и между отцом и сыном. Между друзьями всякие приказания и запрещения должны исчезнуть, а самое важное то, что абсолютно нельзя говорить того, что хотелось бы сказать. Вечером я только еще упомянула

о том, что мама Доре, конечно, запретила говорить со мной об известных вещах, — и это называется дружбой? Она ответила очень мягко:

— Нет, Рита, мне мать ничего не запрещала, но я убедилась, что было бы необдуманно говорить с тобой об этих вещах. Достаточно рано приходится сталкиваться с серьезной стороной жизни.

Я рассмеялась:

— Это ты называешь серьезной стороной жизни? Неужели ты не понимаешь, как прекрасно мы проводили время, болтая об этом? Мне кажется, твоя память пострадала от грязевых ванн.

Она ничего не ответила. Поскорее бы приехала Ада. Она мне теперь так нужна, как я ей.

4 августа. Слава богу, Ада приезжает; но, к сожалению, только восьмого. У них шестого стирка белья и никто не может ее проводить. Я страшно рада; мне только жаль, что она будет спать в кабинете, а не Дора. Но мама говорит, чтобы мы с сестрой не разлучались, а Ада, если она боится, может оставлять дверь в столовую открытой.

7 августа. Дни тянутся бесконечно. Дора нежна и молчалива, как монахиня, все свое время она проводит с мамой. Обе таксы проданы, и мне стало невыносимо скучно. Завтра, слава богу, приезжает Ада. Мы с папой поедem в шесть часов на вокзал встречать ее.

8 августа. Пишу наскоро несколько слов. Ада на целую голову выше меня. Папа говорит:

— Ну, длинноногая, куда ты тянешься? Не должен ли я теперь перейти с тобой на «вы»?

— Ах, нет, г-н советник, говорите мне «ты», я так счастлива, что я у вас.

— Да, она, к сожалению, везде чувствует себя счастливее, чем дома, — сказала мать Ады. — Такова современная молодежь.

Папа выручает Аду:

— Сударыня, и в нас когда-то бродила и кипела молодая кровь, но это было давно, и мы успели об этом забыть.

Г-жа Г. преднамеренно вздохнула так глубоко, что казалось, она задохнется. Ада взяла меня за руку и тихо сказала:

— Ты теперь имеешь представление о моей жизни?

Мать Ады сегодня у нас ночует. Она весь вечер вопила о всевозможных вещах (так, по крайней мере, выразилась Ада перед тем, как ложиться спать); но я не обратила никакого внимания, я горю уже нетерпением узнать, что мне скажет Ада. Значит, завтра сразу после завтрака.

12 августа. Три дня я не могла писать, так много мы с Адой болтали. Без искусства она не хочет жить, скорее она убежит, чем откажется от него. Ей предстоит еще год посещения высшей школы и курс французского языка или рукоделия для государственного экзамена. Но она хочет все это проделать в Вене, чтобы иметь возможность изучать драматическое искусство у Г. Г. Она говорит, что она больше не влюблена в него; он служит только средством для достижения цели. Она бы пожертвовала всем, лишь бы добиться своего. Сначала я всего этого не могла понять, но она мне потом сказала, что это значит. Она прочла роман Бартча «Елизавета Кетт», — у мамы он тоже есть, — и еще много других романов из жизни артистов, и везде говорится о том, что для того, чтобы стать настоящей актрисой, необходимо пережить большое увлечение. Тут есть, наверное, доля

правды. Настоящая любовь меняет человека; это я ясно видела на примере Доры; какой она была, когда безумно любила Виктора, и какой она стала теперь. Она опять изучает латынь, чтобы нагнать упущенное. С ней Ада о своих планах не говорит, потому что ей не хватает настоящего понимания! Только сегодня она в ее присутствии упомянула о своем решении приехать осенью в Вену, чтобы часто бывать в театре. Ты ошибаешься, если думаешь, что, живя в Вене, ты часто попадешь в театр; во-первых, мало остается для этого времени и, во-вторых, не всегда можно достать билеты; живя в провинции, представляешь это себе гораздо проще, чем оно на самом деле.

14 августа. Наскоро напишу несколько слов. Когда сегодня Ада принимала ванну, мама сказала нам:

— Дети, мне нужно вас предупредить: я бы не хотела, чтобы вы испугались ночью. Мать Ады мне сказала, что девочка очень нервна и иногда ночью, во время сна, встает, не замечая этого.

— Боже, — говорю я, — это страшно интересно, она, значит, — лунатик; это с ней бывает наверное во время полнолуния.

Мама удивилась:

— Скажи-ка Гретель, откуда ты «все эти вещи» знаешь? Ада тебе уже говорила об этом?

— О нет, — говорю я, — у Франке была горничная-лунатик, и она Гелле и мне об этом рассказала.

Сейчас я вспоминаю, что мама спросила: откуда ты знаешь «все эти вещи»? Значит одно от другого в зависимости? Спросить мне Аду, или она обидится? Мне очень любопытно знать, случится ли это с ней у нас.

15 августа. Сегодня я получила от Геллы ответ на письмо, в котором я ей писала о дружбе Доры с мамой.

Гелла тоже не верит, что из-за этого она отказала Виктору; разве это настоящая причина? Лиззи никогда не была дружна со своей мамой, и Гелла тоже не может этого понять; она находит, что я права: можно очень любить своих родителей, но о дружбе не может быть и речи. Она была бы очень обижена, если бы я вдруг взяла, да переменила свою подругу. У Доры, наверное, не было настоящих друзей, поэтому она теперь должна обратиться к маме. Брукнеры будут двенадцатого уже обратно. В Гастейне очень дорога жизнь. Вероятно, они поедут в Венгрию к своему дяде, или в Фибербрунн, в Тироле. Я подарила Гелле ко дню рождения «Дневник Шалуна», ей тоже хотелось его иметь. Теперь он у нас обеих, и мы можем друг другу сообщать, что следует там прочесть.

20 августа. Сегодня ночью Ада, действительно, встала; мы бы ничего не заметили, если бы она не декламировала монолога из «Орлеанской Девы». Дора сейчас же узнала и сказала мне:

— Рита, послушай, Ада, в самом деле, лунатик.

Мы не шевелились, она направилась в столовую, но дверь была заперта и ключ был вынут, она наткнулась на мамину кушетку и тут же проснулась. Это было ужасно. Потом Ада ошиблась дверью и вошла в нашу комнату, вместо кабинета; она извинилась, сказав, что искала уборную. Она вернулась в кабинет. Дора говорит, что мы не должны упоминать об этом; очевидно, Ада очень стесняется. Оказалось, что ничего подобного; после завтрака она обратилась к нам:

— Сегодня ночью я вас очень напугала, не сердитесь на меня; меня иногда что-то поднимает с кровати, и я не могу остаться лежать. Мать говорит, что я при этом декламирую; это правда, я что-нибудь говорила?

— Да, ты декламировала монолог из «Орлеанской Девы».

— В самом деле? Это происходит от того, что они меня не пускают на сцену; я наверное сойду с ума; вы будете, по крайней мере, знать истинную причину.

Это вставанье по ночам интересно, но, сознаюсь, мне немного жутко с ней, и права Дора, когда говорит: никогда не знаешь, куда по настоящему устремлен Адин взор? Если бы она, в самом деле, с ума сошла, это было бы ужасно. Я, впрочем, вспоминаю, что мать ее была в сумасшедшем доме. Только бы не случилось это с нею у нас.

21 августа. Мама тоже слышала все это вчера ночью. Она довольна, что предупредила нас, а Дора уверяет, что с ней случился бы сердечный припадок, если бы она не была подготовлена.

— Ада — истеричка, она это унаследовала от матери, — сказал папа.

Лиззи едет этой осенью на год в Англию для дальнейшего образования. Как я ни люблю Аду, и как мне ни жаль ее, мне с ней бывает жутко, и я, в сущности, рада, что она уже во вторник уезжает. Сегодня она мне рассказала ужасную вещь: Александр — артист — болел половой болезнью. Он был офицером. Она говорит, что все офицеры больны этой болезнью. Я решила себя не выдавать, прикинулась, что не понимаю, что это такое, и спросила Аду. Она говорит, что именно «это» не в порядке, эта часть тела все уменьшается и уменьшается и, в конце концов, проваливается совсем, или же, наоборот, она увеличивается, то-есть страшно опухает; последняя форма болезни лучше, так как тут помогает операция; один полковник в отставке, домовладелец в Г., подвергся

в Вене такой операции, но он все же не выздоровел. Есть только одно спасение, если девушка отдастся такому больному. (То же самое говорила и Мад...). Болезнь переходит на девушку, а он выздоравливает. Ада убедилась, что она А... любит только за то, что он взялся ее учить; в жертву она себя не принесет, а если бы решилась на это, то не знала бы, как ему об этом сказать. Впрочем, больной сам обращается обычно с таким предложением.

— Подумай-ка, что бы ты сделала, если бы от него родился у тебя ребенок? — спрашиваю я.

— Это исключается, — возражает она, — от такого больного не может родиться ребенок. Кроме того, ты должна знать, что только рождение ребенка может сделать женщину, посвятившую себя театру, настоящей актрисой.

Что-то в таком роде говорила нам с Геллой и Франке, кузина которой на сцене; но мы думали, что это касается только артисток Венского театра, но ни в Городском театре, ни в Опере, ни в Народном театре этого не должно быть; я рассказала об этом Аде.

— Боже, я провинциалка и то знаю, что каждая актриса имеет ребенка.

23 августа. Ада, действительно, актриса по призванию, она нам прочитала сегодня выдержку из прекрасного романа, и как! даже Дора не вытерпела:

— Ада, это замечательно.

Тут она швырнула книгу, стала плакать и рыдать:

— Мои родители грешат против своей плоти и крови, но они раскаются в этом. Вы еще помните, что мне предсказала в прошлом году старая цыганка: «большое, но короткое будущее, после тяжелой борьбы; мой жизненный путь сломен». Все так и случится, и моя мать может

продекламировать прекрасное стихотворение Фрейлиграта или Анастасиуса Грюна, или кого-то другого:

«Люби, пока любить ты хочешь;
Люби, пока любить ты в силах,
Наступит время, — пожалеешь
И плакать станешь на могилах».

Ада продекламировала нам все это стихотворение. Когда я ложусь, я его вспоминаю, и это мне не дает заснуть.

24 августа. Сегодня я расспрашивала Аду относительно лунатизма; она мне пояснила, что это на нее находит «в известное время» и при полнолунии. В первый раз в прошлом году она это проделала нарочно, желая испугать свою мать, когда она ей не разрешила пойти в театр. Я нахожу, что это не умно, что этим она ничего не достигнет. Послезавтра за ней придут. Она проплакала все сегодняшнее утро.

25 августа. Сегодня Гелла с матерью и с Лиззи были у нас. Гелла прекрасно провела время в Гастейне; она должна мне сообщить что-то очень важное с глаза на глаз. Присутствие Ады оказалось здесь лишним. Гелла вообще не долюбливает Аду. Она тоже утверждает, что никогда не знает, куда обращен ее взор. Она будто пронизывает тебя своим взглядом. Нам не удалось ни одной минуты поговорить наедине. Я надеюсь, что Гелле удастся еще раз приехать к нам перед поездкой в Венгрию. Последнюю неделю они были в Фибербрунне, в Тироле; туда приехала из Берлина подруга детства ее матери.

26 августа. Сегодня Ада уехала; за ней приезжал ее отец. Он находит, что Ада свихнулась в своем стремлении попасть на сцену.

28 августа. Сегодня была Гелла; она приехала одна, я встретила ее у паровика. Она сначала не хотела мне сказать «самое важное», потому что оно «не лестно» для меня. Но, наконец, все же решилась. Семейство Варт было в Гастейне и, так как Гелла познакомилась с Изель на уроках гимнастики, они встречались и беседовали; к ним присоединился Роберт, — этот наглый малый обратился к Гелле с вопросом:

— Скажите, ваша подруга все еще такой ребенок, как была тогда в...?

Он сделал вид, будто забыл, где это было, и слово «тогда» он произнес, как будто это было десять лет тому назад. Но самое наглое впереди: он рассказал, что я не хотела его называть Бобом, потому что это мне напоминало известную часть тела. Этого я никогда не утверждала, мне просто слово «Боб» казалось смешным и вульгарным. Когда мы были на «вы» он сказал:

— Фрейлейн Грета, из ваших уст я хотел бы услышать свое полное имя.

Я это помню, как будто это случилось сегодня, и могла бы нарисовать место, где происходил этот разговор — по дороге к «Красному Кресту». Здорово же ему ответила Гелла:

— Это все возможно, мы никогда не говорили о таких пустяках и мы все, сколько нас было, — все были тогда детьми.

Сюда она включила и..., я даже не хочу написать его имени. Но больше всего меня злит то, что он позволил себе сказать:

— Теперь ваша подруга наверное несколько выровнялась, но тогда она была еще мало развита.

Гелла оборвала его словами:

— Таких выражений в разговоре с барышнями не употребляют,—и больше она с ним не имела дела.

Это великолепно! какое ему дело до того, развилась ли я с тех пор, или нет. Гелла утверждает, что я в прежнее время была недостаточно разборчива. Боб и сейчас еще «бэби». Это прекрасно согласуется: Боб — бэби; теперь мы его только и называем «Бэби», то-есть в тех случаях, когда мы вообще о нем вспоминаем. Кто нам несимпатичен, тому мы даем кличку «Боб», или же просто «Бэ». Все-таки, как-никак, а неприятно произносить слово «Боб».

31 августа. В этом году каникулы протекают очень скучно. Гелла в Венгрии, а с Дорой я ни о чем интересном не говорю. Ада в своих письмах только и пишет о моем обещании по поводу Вены. Это удивительно. Я ей решительно ничего не обещала, кроме того, что поговорю при случае об этом с мамой. Я это и сделала, но получила ответ, что об этом не может быть и речи.

1 сентября. Ура! Завтра еду с отцом Геллы в Венгрию, в К... М... Я безумно рада. Гелла—ангел; когда она в прошлом году на рождество заболела, ей отец предложил: «Попроси, чего хочешь». У нее тогда не было особенных желаний и все равно приближалось рождество. Она его предложение приберегла для более подходящего времени. Теперь она написала своему отцу в Краков, где он был на маневрах, напомнила ему об его обещании и просила его исполнить ее заветную мечту, взять меня с собой в К... М... Это единственное и самое горячее желание ее жизни... И сегодня г-н полковник был у папы в бюро и показал ему письмо Геллы. Завтра в три часа я должна быть на вокзале казенной железной дороги. Этот вокзал, к сожалению, мне не по душе, он менее

аристократичен; западный вокзал гораздо лучше, а приятнее всего южный.

2 сентября. Я страшно взволнована, я одна еду в Вену и должна пересест в Лизинге; надо надеяться, что я не ошибусь поездом. Сегодня утром я получила письмо от Геллы, в котором она мне пишет: «Теперь пройдет уже немного времени—и мы будем вместе». И больше ничего; вероятно она еще не знает, что я действительно приеду. Все мои белые блузы грязны. Мама мне их пришлет, я надену костюм и розовую кофточку. Я беру с собой двадцать листочков моего дневника, этого будет достаточно; писать я буду непременно, вероятнее всего утром, так как Гелла во время каникул наверное встает не раньше девяти часов. В Вене, по праздникам, она любит поваляться в постели, но отец ей этого не разрешает. Учиться ездить верхом я не стану ни за что. Должно быть, ужасно падать в присутствии чужих мужчин. У Геллы дело другого рода; Иенё, Лайос и Эрнё—ее двоюродные братья, и кто-нибудь из них едет всегда рядом с ней, держит ее за талию, мне же так ездить неудобно.

6 сентября. Боже, здесь восхитительно! Больше всех мне нравится Иенё, он меня повсюду сопровождает, мне все показывает. Гелле нравится больше всех Лайос, к Эрнё она относится тоже хорошо. Последнему приходится много заниматься, он чуть-чуть не провалился на экзамене. Лайос будет в будущем году лейтенантом, Иенё поступает теперь в Академию. Эрнё немного прихрамывает, поэтому он не мог стать офицером. Он будет инженером, но не здесь; он собирается в Америку. Сегодня у меня есть время заняться своим дневником. Все четверо поехали в С. на велосипедах. Я на велосипеде не катаюсь. Поездка была великолепна. Правда, ехать с военным,

да еще с полковником,—чудесно. Все железнодорожное начальство раскланивается, а кондуктора не знают, как и чем угодить. Все конечно думали, что я его дочь, так как он мне с давних пор говорит «ты». Я сейчас вспомнила, папа Адевсе время говорил «вы». В Форгасе или Фаркасе,—не знаю, как эта станция называется,—мы вышли из поезда, и Геллин папа взял карету. Нам пришлось ехать два часа, пока мы добрались до К... М... Он был неимоверно весел. В Ф. мы ужинали, хотя было только половина седьмого. Все лакеи сейчас же подбежали. По отношению к папе они тоже чрезвычайно почтительны, только железнодорожное начальство с ним не раскланивается. Папа имеет также очень шикарный вид. Единственный недостаток, что он не в форме.

Вот что страшно интересно. Вчера здесь был г-н фон-Крайнс из Радуфалва. Он унаследовал от своего лучшего друга имение Радуфалва, в знак благодарности за то, что он отказался, восемь лет тому назад, от своей невесты, которая любила его друга. Хотя полковник Брукнер говорит, что К...—тряпка и очень противен, но я этого совсем не нахожу. Он выглядит человеком с горячим сердцем, настоящий благородный венгерец; Гелла говорит: у него в прежнее время было безумно много долгов, так как он часто заводил новые знакомства с дамами. От количества подарков, которые ему пришлось делать, он почти обнищал. Это даже не совсем понятно. Сколько бы ни подносить дамам цветов и конфет, все же от этого обеднеть невозможно.

И вчера, перед сном, Гелла мне говорила, что Лайос уже слегка «заражен»; не бывает военных, которые бы не были больны половыми болезнями, и это-то и делает их такими ужасно интересными. Тогда я ей рассказала

то, что слышала от Ады про артиста в П. Но Гелла сказала:

— Еще вопрос, правда ли это; разве только, что он артист, а главное то, что он был раньше военным, а то все штатские — так ужасно солидны!!! — Она бы не вынесла такого мужа. Все военные безумно «жили», — это значит, что они больны, а она ни за что не возьмет мужа, который бы не жил. Большинство девушек, особенно когда они делаются старше, желают как раз обратного. Тогда мне вдруг пришло в голову, что это-то, вероятно, и есть причина, по которой Дора отказала господину поручику Р..., а, конечно, не привязанность к маме; это, действительно, смешно, и никто ей не поверит. Геллин папа находит меня прелестной; он, впрочем, тоже ужасно мил. Геллин дядя почти всегда молчит, да его и не понять. Геллин папа говорит, что дядя под сапогом у жены. Этого бы я не хотела: муж должен быть господином в доме. «Только не чересчур», говорит Гелла. Впрочем, ее всегда злит, когда ее папа так говорит. Вчера я страшно испугалась: когда мы хотели выйти на веранду, откуда слышны были голоса мальчиков, то видим — стоит кресло, а в нем двоюродный дед Геллы, про которого она мне как-то говорила, что он совсем сумасшедший. Он не на самом деле парализован, а только представляется. Гелла его ужасно боится, потому что он как-то хотел ее побить, когда ей было лет девять или десять. Но подошедший дядя ее спас. Хотя она и говорит, — «посмей он только», но все же она его ужасно боится. Он всегда бывает в своей комнате и за ним ходит служитель, потому что ни одна сиделка не могла с ним вытерпеть. Ему бы следовало быть в сумасшедшем доме, но в Венгрии нет порядочных.

9 сентября. Утром был ужасный скандал. Дед, которого люди называют Kutya mog, то-есть бешеной собакой, нас преследует. Он, если хочет, может ходить с палкой, и вот он стал перед нашим окном в нижнем этаже и смотрел, как Гелла умывалась, а я как раз вставала. Тогда подоспел Геллин папа и устроил страшный скандал, и старик тоже страшно бранился по-венгерски. А перед обедом мы слышим, как папа говорит тете Ольге: — Ишь, старая свинья, польстился на лакомый кусочек, такие невинные дети.

Мы — невинные дети! Мы ужасно смеялись. Чего только папаши не воображают: мы — и невинные!!! За обедом мы боялись взглянуть друг на дружку, чтобы не фыркнуть. А днем Гелла говорит:

Знаешь, все мы в один день именинницы.

А когда я ей говорю, что она с ума сошла, она страшно расхохоталась и говорит:

— Ну да, двадцать седьмого декабря, в день невинных младенцев!

Это великолепно. Она, хотя и протестантка, но знает это, потому что это день рождения Марины, этой коварной женщины, и мы ее в письме тогда назвали «невинным младенцем»; я нечаянно плохо написала «К» и получилось: «невинная скотина», и потом тетя Альма подняла из-за этого ужасную бурю*).

Со всеми тремя мальчиками я перешла на «ты». За ужином вчера Геллин папа спросил у Эрнё:

— Никак вы еще на «вы»? Выпейте на «ты» и не будьте филистерами.

*) Младенец по-немецки „Kind“, а скотина „Rind“.

Примечание переводчика.

Мы выпили, а после, когда мы с Иенё стояли в нише окна и любовались луной, он мне сказал:

— Знаешь, Маргит, это был не настоящий брудершафт: при этом надо поцеловаться. Ну, скорее, пока мы одни.

И не успела я возразить ему, как он уже поцеловал меня. Что касается Иенё—мне все равно, а с Лайосом мне это было бы ужасно неприятно из-за Геллы или Илонки, как ее здесь называют.

Гелла говорит, что она видела, как мы целовались, и что Лайос ей сказал:

— Смотри, Илонка, какой они нам хороший пример показывают.

Мы здесь ужасно счастливы. К несчастью, Иенё и Лайос должны уже шестнадцатого ехать на занятия: Иенё на первый курс Академии, а Лайос—на третий. Самый бесцветный, Эрнё, остается до октября. Так и всегда в жизни: все прекрасное уходит, а бесцветное остается. Мы ежедневно ездим на лодке, вчера и сегодня—при лунном свете. И мальчики так сильно раскачивают лодку, что мы ужасно боимся опрокинуться. А они тогда говорят:

— Судьба в ваших руках: откупитесь, и вы будете в безопасности, как в лоне Авраама.

12 сентября. Дед нас с тех пор ненавидит. Он грозит нам палкой, как только завидит нас, и хотя мы знаем, что он нам не опасен, все-таки ужасно жутко. Все чудятся разные истории, о которых мы читали, или о которых говорится в сказках и легендах. Это единственное, что портит мое пребывание здесь. Впрочем, восемнадцатого мы уезжаем. Лайос и Иенё, конечно, будут часто ходить к Брукнерам. Я уже страшно радуюсь этому. Не знаю, почему я всегда воображала, что они говорят только по-венгерски. А оказывается, что только когда нет гостей,

у них разговаривают по-венгерски. Сегодня Гелла созналась, что все цветы, которые стояли у ее постели, когда она была в санатории, были от Лайоса. Он не хотел, чтобы она об этом говорила. Это меня, собственно, обозлило, потому что я гораздо откровеннее с ней, чем она со мной.

16 сентября. Сегодня мальчики уехали, а вчера мы не ложились до полуночи. Мы были в Н... К... (я не умею писать все эти венгерские названия) и вернулись только в половине двенадцатого. Было чудесно. Тем тоскливее сегодня, к тому же еще идет дождь. В первый раз с тех пор, что мы здесь. Разлука—ужасная вещь, особенно для остающихся. Тех, кто уезжает, сразу ждет перемена. А оставаться—такая тишина и пустота. Мы с Геллой после обеда пошли в комнату Лайоса и Иенё. Там было еще не прибрано и царил ужасный беспорядок. Гелла вдруг зарыдала, бросилась на постель Лайоса и стала целовать подушки и одеяло. Как она его любит! Так, вероятно, Мад. любит своего поручика; Дора, конечно, неспособна на такую любовь, а отговаривается настоящей, глубокой привязанностью к маме. Гелла говорит, что она всегда любила Лайоса, но что мы с Иенё ей тогда открыли глаза. С тех пор она полюбила Лайоса навеки. В будущем году они наверное обручатся. Тогда ей будет четырнадцать, а до того родители не позволят. Он и в гусары идет ради нее, потому что ей гусары больше всего нравятся; они все здорово живут и ужасно шикарны.

21 сентября. С субботы мы опять в Вене, а в четверг родители с Дорой вернулись из Родауна. Дора великопечна: с тех пор, что гостила Ада и оказалась лунатичкой, Дора боится, что и она заразилась. Она, видимо, не знает, что это, собственно, значит. И пока меня не было, она

спала у мамы, а папа—в нашей комнате, потому что она боялась спать одна. Никто не делается лунатиком оттого, что будет спать один. Но это был, конечно, предлог: Дора вообще не из храбрых, она просто боялась спать одна в комнате. Что если бы и папа боялся, мне бы пришлось, пожалуй, возвращаться обратно? А если бы я боялась одна ехать и не было бы никого, чтобы проводить меня? Это было бы чудесно. Папа много смеялся над моими «комбинациями», а Дора злилась. Она опять так же скучна и тщеславна, какой была до своей любви. Значит Гелла права, что любовь облагораживает. А слышавший это Эриё, глупо сострил: «ты, Гелла, оговорила, ты хотела сказать, что от любви глупеют». Конечно, это он оттого, что никого не любит.

22 сентября. Сегодня начались занятия в школе. Госпожа М. была очаровательна. У нее прекрасный вид, и нас нашла поздоровевшими. Слава богу, что она у нас опять классной наставницей. По французскому языку у нас некая госпожа д-р Дункер, очень некрасивая, вся в угрях. Я этого не выношу. Гелла говорит, что мы должны остерегаться, чтобы наши книги не попадали ей в руки, а то и у нас делается такой же цвет лица. По математике и физике у нас тоже новая преподавательница. Она так быстро говорит, что ее никто не понимает. Но выглядит она ужасно умной, хотя и очень мала ростом. Мы зовем ее «Орешек», из-за ее маленькой головы и прекрасных светло-карих глаз. Остальной состав преподавателей тот же, что и в прошлом году. Есть и несколько новых учениц и несколько переведенных, но из таких, с которыми мы не знавались. Франке последний год посещает школу, ей в апреле минет уже шестнадцать, и она, право, здорово полна. Это ее должно злить больше всего. В классе Доры

сама директриса преподает английский, и это ей очень приятно: Дора принадлежит к числу ее любимиц, что очень важно из-за выпускных экзаменов.

25 сентября. Вчера и третьего дня маме было так плохо, что врач приходил еще в половине одиннадцатого ночи. Сегодня ей, слава богу, опять лучше. Но в такие дни я совершенно не могу вести дневник; это мне кажется преступлением. И такие дни тянутся бесконечно, все молчат, и за столом—ужасно. Сегодня мама уже снова лежала на кушетке.

29 сентября. У меня с третьего дня ужасно болят зубы. Дора уверяет, что золотая пломба г-жи М. мне не дает покоя. Это, конечно, ложь. Во-первых, мне лучше знать, болит ли у меня зуб или нет, а во-вторых, подтвердил же зубной врач, что в зубе—маленькая дырочка. Я бываю у него через день и это очень неприятно. А к тому же еще сегодня страшно много уроков. «Орешек», собственно, очень мила. Если бы только ее можно было лучше понимать. Пятый класс, где она тоже преподает, называет ее «Водопадом» за то, что она так быстро говорит. Г-же М. еще никто никогда не давал прозвища, даже в хорошем смысле. Ее бы можно было разве только называть ангелом, а это бы не имело никакого смысла, потому что могло бы означать настоящее имя. По рисованию у нас будет «nature morte», а лучшие из нас будут писать этюды животных. Я ужасно рада.

4 октября. Боже, сегодня, возвращаясь с императорского праздника, мы встречаем на М... улице Виктора. К сожалению, он нас не заметил. Он был в парадной форме и шел еще с тремя офицерами, которых мы не знали. Нас обеих ужасно разозлило, что он нас не узнал. Гелла думает, это только оттого, что на нас обеих были

новые, большие осенние шляпы, которые так затемняют лицо.

11 октября. На уроке рисования произошел ужасный скандал. Боровская написала одной из своих подруг: «Маленькая евреечка Ф. (то есть «Орешек») только-что введена из Скандалиции со своими конскими волосами, с жителями в них или без оных», или что-то в этом роде. И как раз, когда она перебросила записку Фельнер, фрейлейн Шёлль обернулась и подхватила ее.^н

— Кто это Ф? — спрашивает она, но все молчат.

Тогда она ужасно рассердилась и сунула записку в карман. После урока Боровская пошла к ней и просила вернуть письмо. Она опять спросила: «Кто это Ф?» А Фельнер хотела, видимо, помочь Боровской и говорит:

— Она позабыла написать — д-р Фукс.

Тут и пошло. Я не пишу всего, это было бы слишком длинно. Боровскую, конечно, исключат. Она ужасно плакала и просила, и говорила, что не так выразилась, но фрейлейн Шёлль покажет письмо директрисе.

12 октября. Сегодня—продолжение. Директриса простужена, и фрейлейн Шёлль отдала письмо г-же М. Это было и хорошо и плохо. Хорошо потому, что Боровская, быть может, останется, а плохо потому, что г-жа М. ужасно рассердилась. Потом она сказала нам великолепную речь об истинном благородстве образа мыслей, просто великолепную. Я была рада, что не замешана во всю эту историю, потому что она выставила Боровскую и Фельнер в ужасном виде. Значит, все-таки правда то, что ее жених—еврей. Как ужасно, что как раз она должна иметь жестокого мужа, если, конечно, справедливо то, что нам тогда рассказывала Рэзи; какая-нибудь доля правды в этом, конечно, есть. Ужасно хотелось бы знать, дошло

ли все это до «Орешка», и если—да, то что она будет делать.

13 октября. «Орешек», повидимому, ничего не знает, она держала себя как обычно. Мы с Геллой думаем, что она не показывает виду, даже если бы фрейлейн Шёлль ей что-нибудь и говорила. Впрочем, таких вещей не передают; эта была бы подлость. Что она ни о чем не знает, мы заключили и из того, что ни Боровскую, ни Фелльнер не вызывали.

14 октября. Сегодня вышивальщица принесла платки для Доры, с ее монограммой и с короной, великолепно. Я к рождеству хотела бы себе такие же. Для мамы она вышила шесть наволочек, тоже с короной. Понемногу у нас на всем появляется корона. Ах, да. Я об этом еще и не писала: в первые же дни занятий папа дал каждой из нас по своей визитной карточке с дворянским гербом, мне—для г-жи М., Доре—для профессорши Крейдль, чтобы внести в список. Профессорша Крейдль не сказала ни слова, зато г-жа М. была очаровательна.

— Вот как, Лайнер, — сказала она, — ну, ты, верно, очень довольна таким сословным повышением?

— О, да, — сказала я, — я очень рада, но только не горжусь.

А она говорит:

— Ты права: религия, имя и деньги не делают еще человека.

Боже, как хорошо! «Ф» (фон) перед своей фамилией я буду писать совсем крошечным: кто знает—тот увидит. Как жаль, что она не дворянка. Она бы заслуживала этого.

15 октября. Сегодня уехал Освальд в Лёбен. Он студент-горняк, против воли папы. Но папа говорит, что никогда не следует принуждать кого-либо к какой-нибудь

профессии, а то тот потом всю жизнь будет иметь отговорку, что его заставили избрать тот или иной путь. Дора недавно сказала, что Освальд только потому избрал горное дело, чтобы не оставаться дома. Право или землеведение ему пришлось бы изучать в Вене, а он этого не хотел. Значит, он немного лукав. Потому что, когда он приезжал после экзаменов из Граца, он ясно говорил:

— Слава богу, что можно опять протянуть ноги под родным столом и подышать семейной атмосферой.

А Дора ему тогда сказала:

— Не очень-то важно ты, кажется, здесь себя чувствуешь; только что приехал на каникулы, а уж говоришь о новом отъезде.

Ее всегда сердит то, что Освальд так свободно разъезжает. А он еще толкует о «нестерпимом контроле». Что же нам говорить после этого? Ему позволяют по вечерам возвращаться в десять часов, он не приходит к ужину и, вообще, делает, что хочет. Если я как-нибудь застряну у Геллы и опоздаю к ужину, то сразу огромный скандал. А все уловки, на которые приходилось идти Доре, когда ее, бывало, ждал Виктор,—этого я никогда не забуду. Она, правда, все отрицает, но я-то прекрасно знаю, я сама ей помогала, а то бы он не называл меня «духом-покровителем». Теперь Дора делает вид, что она обо всем забыла, поэтому-то я так часто и напоминаю ей об этом, когда мы одни. Недавно она говорит мне:

— Прошу тебя, Грета (не Рита), не говори больше об этом. Вся эта история погребена для меня навеки.—А когда я ей сказала:

— Как, погребена? Истинная любовь никогда не забывается, — она мне ответила:

— Это именно и не была истинная любовь, и теперь все кончено.

16 октября. Сегодня за уроком арифметики я страшно перепугалась. Гелла вдруг ужасно покраснела, и я сразу подумала: «А, вот оно». И пишу ей на клочке бумаги: «наступили?» У нас было решено, что она мне тотчас же сообщит; ей ведь в феврале минет четырнадцать лет, и это должно же действительно наступить. Г-жа Ф. меня спрашивает:

— Лайнер, что это ты подсунула Бр.?

И она уже у скамейки и берет бумажку.

— Что это означает: «уже наступили?»

Может быть, она и действительно не знала; но несколько девочек, которые знали, засмеялись, а я ужасно перепугалась. Но Гелла, право, великолепна.

— Простите, г-жа докторша, Рита спрашивает, наступили ли морозы, потому что тогда откроется каток.

— И такими вещами вы занимаетесь на уроке математики?

Но, слава богу, этим все кончилось. Только Гелла на перемене говорит мне, что я иногда бываю архи-глупа. Зачем было писать об этом? Если это будет, то она мне, разумеется, тотчас же скажет. Впрочем, мы условились, что будем лучше говорить «наконец». Это отлично, и Гелла говорит, что я придумала это в момент просветления. Собственно, это дерзость, но подруге можно многое простить. Впрочем, она мне прямо запретила так уставляться на нее во время урока, что я в самом деле делаю, потому что всегда думаю: а, значит сегодня...

8 ноября. В день рождения папы и Доры маме сделалось так плохо, что никакого праздника не было. Я ужасно боюсь, не разболелась бы мама серьезно, или

вдруг не... Нет, об этом я не хочу и думать; этого нельзя говорить, даже если ты и не суеверна. Тетя Дора приезжала на прошлой неделе и взяла на себя хозяйство. Мы и на каток не пойдем, так как все боимся, не стало бы маме еще хуже. Как только она сможет вставать, папа свезет ее к одному профессору по женским болезням. Значит все-таки правда, что мамина болезнь происходит от этого.

16 ноября. Боже, как ужасно. Маме нужно делать операцию. Я так волнуюсь, что не могу писать.

19 ноября. Мама так добра и так мила. Она хочет, чтобы мы пошли на каток: нам нужно рассеяться и не думать постоянно об операции. Но Дора тоже находит, что было бы прямо нечеловечно идти на каток, если маму через несколько дней будут оперировать. А папа вчера вечером сказал нам:

— Дети, возьмите себя в руки и сдерживайтесь, чтобы не огорчать маму еще больше. У нее и так тяжело на душе.

Но я не могу; я плачу, как только смотрю на мамочку.

23 ноября. У нас стало так гадко, с тех пор как маму увезли. Мы пошли в школу и думали, что ее повезут после обеда, а вместо того карета приехала за ней уже утром. Дора говорит, что папа это нарочно устроил, потому что я не умею сдерживать себя. Господи! Кто же это может? Дора сама весь день в слезах. А я в школе так страшно плакала, да и Гелла тоже.

28 ноября. Слава богу, все сошло хорошо. Через две недели мама вернется. Только теперь я вижу, как я боялась за маму. Мы каждый день бываем у мамы в лечебнице. Мне бы хотелось пойти одной, но я хожу всегда или с папой, или с тетей Дорой. Дора, та, конечно, ходит одна к маме, сегодня она принесла цветы, точно

мама — только ее. Когда мы в четверг были у мамы в первый раз, все говорили шопотом, а мама плакала, хотя операция совсем восстановила ее здоровье. Вчера, к сожалению, тетя Альма пришла туда с нами в одно время, и папа сказал, что нас слишком много, что это беспокоит маму, и нам пришлось уйти. Конечно, папа хотел, чтобы ушли тетя Альма и Марина, но тетя этого не поняла или не желала понять. Зачем она вообще приходила? Мы все, после разлада из-за Марины и Эрвина, почти не встречаемся, только в семейные праздники. Освальд говорит, что в таких случаях родственники «не сходятся», а «расходятся», потому что всегда кто-нибудь считает себя обиженным.

30 ноября. Сегодня я все-таки была у мамы одна. В школе я сказала, что у меня сильная головная боль, что, впрочем, было и на самом деле, и отпросилась с французского урока. А маме я сказала, что г-жа Дункер больна и не была на уроке. Собственно, не следует лгать больным, но это была святая ложь, как Геллина мама всегда говорит в таких случаях. И узнать это тоже никто не сможет: в четвертом классе г-жа Дункер не преподает, и Дора ничего не будет знать. Мама ужасно обрадовалась, что и я пришла одна. А это доказательство того, что Дора бывает у мамы одна. Мама была такая дуся, а сестра Клара говорит, что она — ангел доброты и терпения. Я начала ужасно плакать, маме пришлось меня успокаивать. Дома я ничего не хотела рассказывать, но когда мы после обеда одевались, чтобы идти к маме, я сказала так, между прочим:

— Сегодня я увижу маму второй раз.

— Каким это образом? — спросила Дора. А я говорю очень просто:

— Одного урока не было, и я воспользовалась случаем, тоже разок побывать у мамы одной.

А Дора говорит:

— Меня очень удивляет, что швейцар тебя впустил. Как это они впускают одних таких молоденьких девочек, почти детей?

К счастью, вошла тетя и сказала:

— Положим, Гретель никто не сочтет за такого маленького ребенка, да кроме того вас все должны уже знать в лечебнице.

Дорогой мы друг с другом не говорили.

5 декабря. Сегодня мы снесли маме большую фигуру святого Николая в цветах, а на ветке висела записочка, на которой папа написал: «Болезнь строго запрещается и наказуется, как непозволительный проступок против § 7 Устава о материнских и хозяйственных законах». Маму это очень позабавило. Профессор говорит, что все идет прекрасно и через несколько дней мама выпишется.

6 декабря. Сегодня мне было адски неловко. Вечером, когда мы выходили из столовой, папа говорит:

— Гретель, ты что-то позабыла.

И когда я вернулась, он берет меня за руку:

— Отчего же ты не говоришь, что тебе хочется одной бывать у мамы? Этого не нужно вовсе скрывать от меня.

Я заплакала и сказала:

— Не от тебя, а от Доры. Ей не нужно обо всем знать. Это она тебе рассказала?

Но о моих головных болях папа не знает; знает только, что я так хотела быть с мамой наедине. И папа поцеловал меня, погладил и сказал:

— Ты славный малый, дочка, оставайся всегда такою.

Но я поскорее вырвалась из его рук. Мне было так неловко, потому что я собственно нагала при этом. Если бы не Дора, мне бы никогда не приходилось лгать.

8 декабря. Папа—настоящий ангел. Мы с ним пошли к маме с утра, а Дора с тетей после обеда. И так как папе надо было дорогой зайти в кафе, то я сначала одна пошла к маме, а он пришел позднее. Мама спросила, чего я желаю к рождеству. Но я ей сказала, что желаю одного, лишь бы она была здорова и жила вечно. Я была так рада, что Доры не было: при ней я бы этого ни за что не сказала. Но мама настояла, чтобы я перечислила свои желания; и тогда я пожелала: носовые платки с монограммой и короной, визитные карточки с «фон»-ом, портфель для книг, как у большинства девочек в старших классах, и роман «Елизавета Кетт», но последнего я не получу. Мама пришла в ужас и сказала:

— Что ты, милое дитя? Это совершенно для тебя не годится. Кто подал тебе эту мысль? Наверное, Ада? Я знаю твой вкус, это бы тебе совсем не понравилось.

— Значит от этого приходится отказаться. Жаль. Я бы наверное не нашла этого романа скучным.

11 декабря. Сегодня мама вернулась домой. Мы ждали ее, но не знали точно, когда она придет. И я так была рада, что мама опять совсем здорова, что стала петь, а мама сказала:

— Это хороший признак, когда встречают пением.

А Дора злилась, что не она пела. У нас все было убрано цветами.

15 декабря. Я вышиваю для мамы подушечку, а Дора—скамеечку под ноги, чтобы ей было удобно сидеть за чтением. Для папы мы купили новый портфель, потому

что старый до того износился, что нам прямо неловко, хотя папа и говорит всегда: «Ну, он еще долго послужит». Я долго не знала, что бы подарить тете Доре; наконец, мы остановились на кружевном фишю. Тетя Дора любит всякие кружевные вещицы. Гелле я подарю альбом для набросков и мягкий футляр для карандашей; она отлично рисует и, может быть, будет художницей. Доре—сумочку, а Освальду — портсигар с лошадиной головой, потому что он ужасно увлекается скачками.

16 декабря. Благодаря маминой болезни, у меня совсем не было времени писать о школе, хотя многое бы стоило записать, например, что профессор В. опять страшно любезен, хотя он нам больше не преподает, и что большинство девочек терпеть не могут «Орешка», потому что она так явно предпочитает евреек. И это правда. Например, эта Франке, которая ни чорта ни знает, вероятно получит «хорошо» по физике и математике; а Вейнбергер может делать все, что ей угодно. У меня всегда «отлично», как за классные, так и за домашние работы, так что мне-то все равно, но Вербенович ужасно злится, потому что она уже не любимица, как раньше у г-жи Шт. А недавно за уроком математики произошла большая неприятность. При одной задаче случайно получилась одна треть, и «Орешек» спросила, как одну треть выразить в десятичных дробях. И потом была вообще речь о периодических десятичных дробях, и, когда она говорила о периодах, несколько девочек засмеялись, к счастью, и несколько евреек. Тут она ужасно рассердилась и стала кричать на нас. В первом классе, у г-жи Шт., тогда тоже кое-кто засмеялся, но она сделала вид, что не замечает. И потом та говорила «периодические числа», тогда как-то не думаешь о настоящем значении. Г-жа Ф. сказала, что она

будет жаловаться на нас. Но ведь не все девочки смеялись, например, мы с Геллой только разок переглянулись. Я сама ненавижу такой глупый смех.

20 декабря. Сегодня приехал Освальд. Он просто божественен. Значит и на самом деле правда, что у него давно есть усы и что им в гимназии не разрешают их носить; а тех, кто живет в интернате, каждую субботу бреет парикмахер. Освальд всегда говорил, что в гимназии душат все мужественное. Слава богу, что я не мужчина, и что мне не нужно поступать в гимназию. Итак, у него чудесные усы, и Гелла совсем без ума от него. Она его в первую минуту даже совсем не узнала и отшатнулась, только по голосу она узнала его. Мы высчитали, что она его не видела с прошлой пасхи. Он называл ее «фрейлейн», но ее мама сказала, что это глупо. Глупо — я бы не сказала, просто — очень вежливо...

25 декабря. Всего несколько слов. Мама чувствовала себя вчера очень хорошо, и ей нисколько не повредило то, что она вставала на такое долгое время. Я счастлива: мы получили каждая по булавке для галстука с сапфиром и тремя маленькими бриллиантами; они сделаны из маминых сережек, которых она никогда не носит. Но именно то и дорого, что это из ее сережек. И сумочка для книг, и рассказы Штифтера тоже ужасно меня радуют, и платки с коронами, и все другое. И ридикюль от Геллы с моей монограммой и тоже с короной. Освальд подарил нам с Дорой по маленькому пресс-папье, а папе — большое, из железной руды. Нам бы, собственно, следовало иметь два письменных стола, но для этого в комнате мало места. Я себе из углового столика устрою письменный стол и на нем расставляю все, что принадлежит мне.

27 декабря. Вчера, у Брукнеров, было ужасно. Геллина мама вполне права: нельзя делать визиты, имея такой вид, если знаешь, что будут и другие гости. Еще позавчера Гелла мне говорила, что ужасно заметно, что ее кузина в и... п... Ее маме было тоже очень неловко, и она не хотела, чтобы Эмми вставала. Мы были просто возмущены. Но ее муж очень нежен с ней. Красивой ее нельзя назвать, особенно мешки под глазами отвратительны. Говорят, многие женщины имеют такой вид, когда они бер... Платье у нее такое, какое носят «в положении»; при этом все еще более заметно. Гелла говорит, что некоторые женщины очень хорошеют, когда они в и... п..., а другие дурнеют. Я надеюсь, что буду принадлежать к первым, если вообще... Нет, это все-таки ужасно, даже если хорошеешь при этом; если я только вспомню г-жу фон-Бальднер, какой у нее был вид нынче летом; а папа про нее всегда говорил, что она прекрасна. В и... п... вообще никто не бывает красивым. Вскоре после ужина мы пошли в Геллину комнату, и Гелла сказала, что еще немного, и ее бы вырвало. И там мы еще о стольком говорили, что нам обоим действительно едва не сделалось дурно. В воскресенье Эмми с мужем будут обедать у Бр., и Гелла меня просила пригласить ее к нам на обед, а то ей станет худо. Конечно, она придет к нам. Тогда ей не будет дурно. И потом она прибавила, чтобы я не думала, что она хочет прийти из-за Освальда, нет, только по этой причине. Я ее вполне понимаю, и, вообще, ей незачем передо мной извиняться.

29 декабря. Сегодня Гелла у нас обедала. На ней было новое платье матово-земляничного цвета, которое ей ужасно к лицу. Вечером Освальд сказал: «Через два-три года Гелла будет чертовски хороша». Это «будет»

меня ужасно злит. Геллин папа просто сказал, что я прелестна, а не так глупо — будет прелестна. Я ненавижу эти вечные толки о будущем. Впрочем, Освальд был очень галантен с Геллой. А когда мы после обеда говорили с ней о нем, и я хотела ее немножечко подразнить Лайосом, она покраснела и сказала, что Лайос ее беспримерно обманул: с октября он только раз, в воскресенье, был у них, да и то, когда они как раз собирались в театр. Правда, он ей сказал, что если он не может быть с ней наедине, то наплевать ему на эти визиты. Гелла не хочет признать, что в этом сказывается сила его любви. Я его понимаю. Но все-таки возмутительно, что Иенё тогда только вскользь спросил обо мне. И сейчас, к рождеству, ему тоже не мешало бы послать карточку. Но таковы молодые люди. К ним действительно подходит пословица: с глаз долой — из сердца вон.

30 декабря. Сегодня заходила г-жа надворная советница Рихтер, всего на четверть часа перед обедом. Ни слова о Викторе, хотя я только из-за этого осталась в гостинной. Дора не показывалась, хотя я не сомневаюсь, что она была дома. Он, собственно, очень похож на свою маму; тот же красивый, прямой нос и изящный, узкий рот. Только он высок, а она очень мала, на полголовы ниже мамы. Она звала нас к себе, но я не думаю, чтобы мы пошли.

31 декабря. Собственно, у меня нет времени, сегодня канун нового года, но я должна написать. Сегодня утром мы с Дорой пошли на каток и встретили Виктора; он весь побледнел, поклонился и заговорил. Дора хотела пройти мимо, но он останавливает ее и говорит, что она должна дать ему высказаться. И потом он идет с нами на каток, потому что она не хотела пойти с ним

в кондитерскую. Конечно, она была права, не идти же ей с ним в кондитерскую. О чем они говорили, я, понятно, не знаю, но днем Дора ужасно плакала, а со мной Виктор даже не простился. Конечно, он не мог забыть об этом: или я была слишком далеко от него, или Дора этого не желала. Вероятно, последнее. Мне его безумно жаль: он ее ужасно любит. Но она одумается только тогда, когда уже будет поздно. Говорить — она ни слова не говорила, кажется, и с мамой. Только после обеда играла всякие печальные вещи, а это доказывает, как ее задело.

2 января. Вчера у меня ~~бы~~ было времени писать, потому что у нас были гости, правда, порядком скучные: Листы и Тробиши. Юлия Тр. — тоскливое существо, мне кажется, она не знает самых простых вещей в этом направлении, а Анни вообще немного «того», разве только Лотта может еще как-нибудь сойти. Но так как мы играли в разные салонные игры с выигрышами, то было очень весело, и Фритц и Рудль довольно милы. Вечером мама чувствовала себя такой усталой; папа сказал, что все эти приглашения следует прекратить. Ну, что касается таких приглашений, то мне решительно все равно. Особенно, если Дора начинает разговоры о чтении. О книгах, и именно о самых тоскливых книгах, говорят, когда больше не о чем. Сегодня опять начались занятия и, слава богу, с немецкого урока. Хотя я вообще несколько не суеверна, но хорошему началу придаю значение. Впрочем, мы утром повстречали двух трубочистов, которые, без того чтобы мы сами это подстроили, прошли с нашей левой стороны. А это, говорят, означает счастье.

5 января. Крайне важно. У Геллы со вчерашнего вечера... Ее вчера и в школе не было, так как ей уже третьего дня было ужасно скверно, и ее мама уже думала,

что у нее снова воспаление слепой кишки. А вместо этого... У нее такой страдающий и интересный вид; я все после-обеда и весь вечер была у нее, и сперва она не хотела мне говорить, в чем дело. Но когда я сказала, что уйду, если она мне не скажет, она сказала:

— Да, но ты не должна строить таких глупых рож и, вообще, смотреть на меня.

— Ну, ладно, — говорю я, — не буду смотреть, только Расскажи мне все подробно.

Тогда она мне все рассказала, как ей было безумно скверно, точно ее резали пополам, гораздо хуже, чем после операции слепой кишки, и при этом у нее был безумный жар, и все-таки ее знобило всю пятницу, а вчера... картина... А потом мама сказала ей о самом главном, о чем она и без того знала. А до того, в пятницу, еще доктор говорил:

— Обождем, здесь могут быть и другие... причины.

И потом он шепотом говорил с ее мамой, но Гелла все-таки расслышала слово «подготовить». Тогда она сразу поняла, в чем дело. Перед своей мамой она представилась совсем невинной, точно она ничего не знает, и ее мама поцеловала ее и сказала, что теперь она больше не ребенок, теперь она принадлежит к взрослым. Смешно. Значит я — еще ребенок. Но, наконец, тридцатого июля мне тоже исполнится четырнадцать, а по крайней мере за один месяц до того и у меня это будет. Значит, самое большее шесть месяцев я еще буду ребенком. Мы с Геллой ужасно смеялись, но она все же чуточку воображает о себе; она не признается в этом, но я это прекрасно замечая. Только Ада ничего о себе не воображала при этом. Из-за школы Гелле это ужасно неприятно,

и еще перед ее папой. Но ее мама обещала ничего ему не говорить. Только, так ли это!!!

7 января. Несмотря на это Гелла сегодня была в школе. Я беспрестанно смотрела на нее, и в перемену она мне сказала:

— Я уже раз запретила тебе глазеть на меня, и сегодня я еще раз запрещаю тебе это. С такими вещами не шутят.

Это уже ни на что не похоже. Не смотреть! Хорошо, за третьим уроком я села слегка боком к ней; тогда она поймала мою ногу своей, так что я чуть громко не расхохоталась, и говорит:

— Уж лучше смотри, а то так еще глупее.

Конечно, Дункер нас сразу остановила, то-есть вызвала Геллу для продолжения чтения. Но Гелла сейчас же сказала, что ей очень нездоровится, и что она мне говорила, что в двенадцать уйдет. Все девочки переглянулись, потому что каждая знает, что значит нездоровится, а г-жа Дункер хотела Геллу сейчас же отпустить, но Гелла сказала по-французски — это Дункер очень любит—что останется до конца урока. Прямо божественно!

12 января. Сегодня мы были на дневном спектакле в Немецком Народном театре на «Четвертой заповеди». Было чудесно; при прощании с бабушкой почти все плакали. Я удержалась, потому что Дора сидела рядом, и Гелла тоже не плакала, вероятно, по той же причине. Кстати, во время большого антракта Гелла совсем с ума сходила; к ней и к ее маме подошел Лайос, который сидел в партере. Он и без того после спектакля собирался к ним. У Иенё—свинка, это ужасно неприятная болезнь, и я бы ни за что не создалась, если бы заболела ею. Самые скверные болезни это те, при которых образуются

опухоли. Через воскресенье Лайос, Иенё и, конечно, и приглашены к Бр. Я ужасно рада.

18 января. Целую неделю не писала, у нас безумно много уроков, особенно французских, потому что очень отстали; так, по крайней мере, уверяет Дункер! Она терпеть не может мадам Арно, это ясно. Я больше любила мадам Арно, потому что у нее не было угрей. На уроках истории у профессора Иордан тоже ужасно трудно, потому что мы всегда сами должны доискиваться до причин; надо заниматься сознательно, а в истории это очень трудно. Никто не получает «отлично», кроме одной Вербенович; но она зато учится не по нашей книге, а по той, по которой профессор И. преподает. Она заранее подсчитывает и, конечно, всегда уже знает все причины войн и последствия. Иметь последствия, впрочем, значит совсем другое, и поэтому мы с Геллой не решаемся смотреть друг на друга, когда спрашивают: какие последствия имело такое-то событие? Недавно г-н профессор подумал, что Франке над ним смеется, но она смеялась только из-за последствий: не могла же она этого сказать, особенно мужчине...

20 января. Возвращаясь сегодня с катка, мы с Дорой встречаем Mademoiselle; я здороваюсь с ней и сейчас же спрашиваю (но очень подчеркивая), как она поживает, и вдруг я замечая, что Дора прошла дальше, а Mademoiselle говорит:

— Ваша сестра так спешит, я не хочу ее задерживать.

И когда я нагнала Дору и спросила:

— Отчего это ты так удрала? — она сделала ужасно гордое лицо и говорит:

— Это знакомство меня не устраивает.

— Но почему же? Ведь ты очень любила Mademoiselle, и она действительно прекрасная.

— Да, говорит Дора, так-то так, но это была громадная бестактность, что она мне обо всем — ты знаешь о чем—рассказала. Такие отношения, за спиной родителей, не могут дать счастья.

Тогда меня взорвало, и я говорю:

— Оставь, пожалуйста, не представляйся. Про Виктора тоже родители ничего не должны были знать, а была же ты ужасно счастлива.

Тогда она очень кротко сказала:

— Милая Грета, и ты переменишь свои взгляды, — и больше мы ни слова об этом не говорили. Но меня ужасно обозлила эта подлость: сперва она просит обо всем ей рассказать, хотя *Mademoiselle*, собственно, совсем не хотела, а теперь представляется, точно она не желала. Если бы я только знала, где мне встретить *Mademoiselle*, я бы ее предупредила. Во всяком случае, попробую через неделю, опять в семь часов, пройти по В... улице; может быть я встречу ее, потому что она, вероятно, возвращается с частного урока.

24 января. Сегодня мама опять очень плоха, несмотря на операцию. Я решила не идти ни в воскресенье к Бр., где ведь должен быть Иенё, ни в понедельник встречать *Mademoiselle*. Я и Гелле ничего об этом не говорила, потому что она бы, вероятно, сказала, что это чужь, но все-таки я охотнее так сделаю. Не потому, что Дора уже два раза что-то намекала насчет чистой совести, а потому, что меня ничто не радует, когда мама больна.

26 января. Мама — ангел. Вчера она спрашивает тетю Дору:

— Скажи, пришла ли Грета новые кружева к своему голубому платьицу, она завтра приглашена к Бр.?

А я говорю:

— Мама, я не пойду.

Мама спросила:

— Но почему же? Уж не из-за меня ли?

Тогда я бросилась к ней и сказала:

— Меня ничто не радует, когда ты больна.

И тогда мама была ужасно мила, заплакала и сказала:

— Такие мгновения помогают забыть все боли и заботы. Но нет, нет, этого не должно быть, ты должна пойти; впрочем, сегодня мне значительно лучше, и завтра все опять будет в порядке.

И тогда я ответила:

— Да, я пойду, но только если тебе действительно хорошо. Ты должна сказать мне откровенно.

Но встречать Mademoiselle я не пойду ни в каком случае.

28 января. Сегодня у нас была работа по математике, и поэтому я вчера не могла писать. В воскресенье мы божественно веселились. Мы так хохотали, что все у нас болело, и Гелла едва не задохнулась от смеха. Но, правда, Лайос невозможно смешил нас: как он подражает жене майора Цельтана в Академии, или капитану Риффль, это восхитительно. Я совершенно не могу писать, у меня перо дрожит от смеха. А пока Гелла с Лайосом пели, Иенё мне сказал, что у каждого парня в Новом Городе действительно есть любовница. Большей частью — в Вене, а у некоторых и в Новом Городе, хотя это опасно, их могут накрыть. Все офицеры знают об этом, но нельзя давать накрыть себя. Тогда я ему рассказала про Освальда, а он говорит:

— Значит Освальд сваял дурака, — прости, он твой брат, — но это он по-дурацки устроил. Правда, он всегда был штатским, у военных это совсем иначе.

Но тут я обозлилась и сказала:

— Прости, Иенё, но ты ведь тоже еще не офицер, следовательно, ты не можешь этого знать.

И потому он сказал Гелле:

— Знаешь, Илонка, ты должна приструнить свою подругу; она не способна к субординации.—Она должна отмечать каждое мое неповиновение, и тогда он меня примерно накажет. Да, но ведь здесь и я имею голос!

30 января. Мне бы так хотелось знать, проходила ли Mademoiselle в понедельник в семь часов снова по В... улице; она так выразительно сказала: «Au révoige, ma chérie». Она так красива и бледна. Вероятно, и ей обидно и боится она, должно быть, тоже из-за... это было бы ужасно. Знает ли она об известных средствах? но сказать этого ей абсолютно нельзя.

2 февраля. Мне пришла на ум чудесная мысль, и Гелла тоже находит ее грандиозной. Мы напишем Mademoiselle анонимное письмо насчет этих средств, и, чтобы никто не узнал мою руку, напишет Гелла. Что-нибудь в таком роде, должно быть, случилось с ней; я недавно слышала, как мама говорила тете Доре:

— Еслиб это можно было знать, мы бы ее, конечно, не приглашали к детям. Ее родители нарадуются.

А тетя сказала:

— Да, она из тех людей, которые топят свой стыд в воде.

— Значит ясно, потому что стыд, это — незаконный ребенок. А самое ужасное то, что родители тогда знают, что дочь это сделала. Мы должны ей помочь, господа, бедная она. Значит поэтому Дора вдруг так возмущена. Но каким образом она об этом знает? Заметить по Mademoiselle ничего нельзя; я то бы уж наверное

заметила; Гелла часто говорит, что у меня верный глаз на это. И это справедливо: у горничной профессора Гефер я первая это заметила. Даже папа ни о чем не знал.

4 февраля. Итак, мы ей написали, то-есть Гелла, что такие средства бывают и что все подробности можно найти в словаре. Для того, чтобы никто не мог понять, о чем речь, если бы вдруг ее деспотичная мать вскрыла письмо, мы не назвали ни тома, ни страницы, а только начальные буквы Ж., М., С... А подписались: «понимающий вас». К несчастью, мы никогда не узнаем, получила ли она письмо, но главное то, чтобы она его получила.

7 февраля. Боже, сколько страха можно вынести из-за одного письма. Сегодня на перемене служительница говорит:

— Простите, ведь вы барышня Лайнер из третьего класса? Вам письмо.

Я покраснела, думая, что это от Mademoiselle, а фрау Бергер подумала, что от кавалера, и говорит:

— Собственно, я обязана отдать письмо директрисе. Я не имею права допускать писем до учениц. Для вас я сделаю исключение, но в следующий раз, имейте в виду, передам письмо в канцелярию.

Я говорю:

— Г-жа Бергер, это наверное не от кавалера, а от барышни, — и, когда она дает мне его, я вижу, что письмо действительно не от кавалера, а только от Ады. Это слишком глупо. К новому году она меня упрекала, что я вероломно нарушила свое обещание, а теперь просит меня узнать в Раймонд-театре или в Немедком Народном, там ли г-н Г... Она жить без него не может в П., а при этом, во время каникул, уверяла, что не любит его, что он для нее лишь средство

к цели. Это я положительно знаю. Я абсолютно не пойду в канцелярию театра наводить справки, и Гелла тоже говорит, что такая просьба — нахальство. Гелла советует ответить ей, как следует, и сказать, в какое глупое положение она могла меня поставить в школе. У Ады, правда, кажется, винтика не хватает в голове, как говорит ее папа.

10 февраля. Это неслыханно. Сегодня меня вызывают в канцелярию: служительница жаловалась, что я внизу у входа уже два раза бросала апельсиновые корки. Вчера я, действительно, обронила одну и отшвырнула ее ногой в угол, но о двух разах я ничего не знаю. Впрочем, я понимаю, в чем тут дело: г-жа Бергер ожидала, что я ей что-нибудь дам за письмо. Это мне нравится, за такое письмо! Это же смешно, да я двадцати крейцеров не дам за него. Но с тех пор она на меня зубы точит, это я еще в среду заметила, когда обтирала ноги. Я, значит, говорю директрисе:

— Это было только раз, и тогда я отшвырнула корки в угол, где никто не проходит, а другого раза, правда, не было, это Брукнер может подтвердить.

Тогда директриса говорит:

— Из-за такого пустяка мы не будем поднимать истории, но в следующий раз нагнись, если обронишь что-нибудь.

Г-жа Бергер шипела от злости, а весь наш класс решил, что если мы и не будем мусорить нарочно, то зато и не будем держать класс в особой чистоте. Бумажки, которые валяются, так и будут оставаться на полу. Такое нахальство! Это ни на что не похоже.

12 февраля. Сегодня мы получили четвертные отметки. У меня — ни одного «удовлетворительно», только —

«похвально» и «отлично». Родители были очень довольны, а каждая из нас получила по две кроны. У Доры — одни «отлично», только три «похвально». Зато она и безумно занимается и ходит опять на латинские уроки к г-же М. Если в будущем году у нее будет опять младшая ступень, я тоже буду ходить. Тогда у нас с ней три лишних урока в неделю. Конечно, у Франке действительно «похвально» по математике и физике, хотя она очень мало знает. Мне кажется, вообще, что «Орешек» ставила очень хорошие отметки, потому что у Геллы два раза было «неудовлетворительно» за классные работы по математике, а на четверти — «похвально». У г-жи М. приходится действительно заслуживать отметки, то же и в прошлом году у г-жи Шт. Хуже всего у профессора Иордана. Никто не получил «отлично», кроме Вербенович, этой фальшивой кошки. Завтра у Бр. большое празднество по случаю четырнадцатого дня рождения Геллы. Будут Лайос и Иенё, а также обе Эренфельд, потому что Гелла их очень любит, особенно старшую, Труде, она на два дня старше Китти: они близнецы. Это противно... Они только с этого года у нас в школе, и Гелла с ними ежедневно встречается на катке, а я — нет, потому что у нас нынче нет сезонных билетов, и мы ходим только изредка, из-за маминой болезни. Я дарю Гелле карманный электрический фонарик с большим рефлектором, так что действительно вся комната освещается, и янтарную цепочку на шею.

14 февраля. Хорошо, что мы сегодня и завтра еще свободны и у меня хватит времени записать о вчерашнем дне. Было просто феноменально. Я уже с утра была у Геллы с поздравлением, а к обеду были приглашены и Лайос, и Иенё; а после обеда пришли обе Эренфельд

и принесли бонбоньерку, и три кузины Геллы, и еще два кузена, из которых один ужасно глуп и ни слова не говорит, и несколько теток, и еще другие дамы, потому что в то же время и у больших были гости. Но мы на них не обращали никакого внимания; столовая, комната Лиззи и кабинет Геллы были нам предоставлены. Гелла получила столько цветов, что от аромата чуть не болела голова. За обедом Лайос провозгласил тост за Геллу, а за ужином — еще второй. Гелла была великолепна, и вечером она мне сказала:

— Действительно, в четырнадцать лет чувствуешь себя совсем иным существом.

Лайос в своей речи сказал, что каждые семь лет обновляется все существо человека, и Гелла находит, что это совершенно правильно. Ну, значит, слава богу, через шесть с половиной месяцев и я обновлю все свое существо. Она мне, в самом деле, казалась совсем чуждой, и когда все должны были дуть, чтобы затушить свечи на торте, кроме свечи жизни в середине, в знак того, что те годы уже прошли, — она совсем побледнела, потому что боялась, как бы кто-нибудь, ради шутки или по неловкости, не задул свечи ее жизни. Но, слава богу, этого не случилось. Я, собственно, не долюбиваю такого рода вещей, потому что тоже боюсь, как бы чего-нибудь не случилось. Я знаю, это только суеверие, но все же было бы страшно неприятно, если бы кто-нибудь затушил свечу жизни. Лайос преподнес Гелле официально большую четырехугольную бонбоньерку, а тайно... серебряное кольцо с брелоком, в форме сердца. Он просил носить его постоянно, пока кольцо не заменится золотым... обручальным. Но Гелла, из-за родителей, не знает, как ей быть с этим подарком, и просит меня, нельзя ли ей сказать, что это я ей его подарила,

но и это тоже невозможно, из-за моих родителей. Такие вещи так неприятны; поэтому-то молодые люди и не хотят жить дома, потому что всегда обо всем спрашивают — о том, что ты делаешь, носишь. После ужина мы пели «Ах, если б я остался в моей родной степи» и другие грустные песни, потому что они самые прекрасные; а вечером танцевали, и Геллин папа играл для нас; а потом взрослая кузина Эльвира с Лайосом протанцевали чардаш, это было прекрасно. Вообще так праздновать рождение мне еще ни разу не приходилось. Да это и возможно только зимой; тридцатого июля, в мое рождение, этого не может быть, потому что как раз все люди, которых любишь, не живут в одном месте. Собственно, никому не следовало бы родиться в течение каникул, а только с конца сентября и до июня. Хоть бы мне тоже было уже четырнадцать лет, — я прямо не могу дождаться. Геллина мама ей во время поздравления сказала, что она уже больше не дитя, а взрослая; ах, если бы и я была уже взрослой...

16 февраля. К нам поступила новая ученица. Все девочки и преподаватели в восторге от нее. Она так мала ростом, точно ей десять лет, но очаровательно хороша собою. Каштановые локоны (Гелла говорит — рыжие, как у лисицы, но это неправда) до плеч, большие карие глаза, прелестный ротик и цвет лица, как кровь с молоком. Она дочь банкира из Гамбурга; он застрелился, отчего — мы не знаем. Она, конечно, — в трауре, и это ей ужасно идет. Она говорит на чистом северо-немецком языке. Г-жа Фукс совсем влюблена в нее и директриса тоже очень ласкова с ней.

19 февраля. Сегодня мы, Гелла и я, возвращались домой вместе с Аннелизой. Ее зовут Аннелиза фон-Дерквиц. Ее мама так горюет о смерти папы, что ее вероятно

придется поместить в санаторию. Поэтому-то они и приехали в Вену, к дяде. Он — профессор, и живут они на Главной Виднеровской улице. Дора тоже находит ее очаровательной, вся школа влюблена в нее. Она будет с нами вместе ходить и в гимнастическую школу, я ужасно рада этому. Правда, она не будет стоять рядом со мной и с Геллой, потому что так мала. Но все же мы можем постоянно смотреть на нее, все ей показывать и помогать ей при упражнениях на трапеции. Гелла слегка ревнует и сказала мне:

— Мне кажется, Аннелиза совсем заменила собой меня в твоём сердце.

Я ей сказала, что это вовсе не так, но что разве можно не влюбиться в Аннелизу?

— Да, сказала Гелла, но из-за этого нельзя пренебрегать своими старыми друзьями.

— Этого я не делаю, а только ведь нужно же кому-нибудь ей все объяснить и показать.

И директриса и г-жа М. посадили ее как раз передо мной и сказали нам: «Займитесь ею немного».

20 февраля. Как жаль, что я не могу пригласить Аннелизу к себе, потому что мама уже с неделю лежит в постели. В воскресенье Аннелиза приглашена к Гелле, и так как я, конечно, тоже буду там, то очень этому рада. Охотнее, конечно, я бы пригласила ее к себе, но из-за мамы, к сожалению, это пока невозможно. Дора думает, что маме придется делать вторую операцию; я этого не думаю потому, что такую операцию можно сделать только один раз. Не знаю только, отчего, если та операция удалась, маме опять нехорошо. Дора боится, что у мамы — рак, это было бы ужасно; я не думаю, чтобы это было так, потому что ведь от рака умирают.

23 февраля. У Брукнеров было божественно. Аннелиза пришла только к четырем часам, потому что они в восемь обедают. На ней было белое, вышитое платье, с черными шелковыми бантами. Геллина мама поцеловала ее в обе щеки, и на глазах у нее были слезы. Ее мама, действительно, в санатории, потому что она—нервно-больная. Аннелиза живет теперь у дяди и тети. Но она часто плачет по своему папе и по своей маме. Во время игры она все-таки веселилась и выиграла как раз самые лучшие вещи: карманный туалет, наполненную бонбоньерку, слоника, негра с вазочкой и еще другие вещи. Я выиграла стоячую перочистку, двойную вазу, золотой карандаш, очень много конфет и записную книжку. Гелла тоже выиграла целую массу, и обе ее кузины, и Женин также. Потом мы занимались музыкой, и Аннелиза спела «Die Wacht am Rhein» и много народных песен; ее голос так же очарователен, как и она сама. За ней пришли уже в семь часов; я ушла в восемь.

1 марта. На завтра мы с Геллой приглашены к Аннелизе. Я так рада. Я вымолю у мамы разрешение надеть новую вечернюю блузку и зеленый весенний костюм. Ведь на дворе десять градусов тепла.

3 марта. Вчера мы были у Аннелизы. Она живет со своей кузиной; той только одиннадцать лет, и она еще учится в городской школе, но она очень мила. Я-то думала, что у профессора Арндт все будет страшно элегантно, на самом же деле—ничего подобного. Они занимают всего три комнаты, да и те обставлены не очень красиво. Он—уже на пенсии; Эмми—его внучка, а ее отец—в Галиции, кажется, капитан или майор. Было совсем не так весело, как у Геллы. Играли мы без выигрышей, а это скучно; ведь вовсе не сами выигрыши

важны, но чего же играть, если нельзя ничего выиграть? Потом читали вслух какую-то историческую книгу. Но что возмутило Геллу и меня, так это то, что дядя Аннелизы говорил нам «ты». Гелле уже минуло четырнадцать лет, а через несколько месяцев и мне столько же будет. Гелла очень правильно сделала; она среди разговора сказала:

— У нас в школе на «ты» нас называют только дамы, а профессора обязаны говорить нам «вы».

Жаль только, что он скоро ушел, и мы не знаем, сообразил ли он. Гелла тоже нашла, что было не особенно весело.

9 марта. Господи, у мамы—действительно рак. Папа, конечно, не хочет говорить об этом, но ей необходимо снова делать операцию. Дора ходит совсем заплаканная, а у меня даже колени дрожат. В пятницу мама ложится в лечебницу. В четверг опять придет к нам тетя Дора и останется до маминого выздоровления. Боже, я так боюсь этой операции, а, пожалуй, еще больше маминого отъезда. Это ужасно; хотя рак бывает у стольких людей, и не умирают же они.

22 марта. Завтра мама вернется домой. О, как я рада! В лечебнице все так тихо, даже в коридорах едва решаешься говорить. Мама сказала:

— Я не хочу дольше оставаться, я хочу к своим детям.

Мы каждый день бывали у мамы в лечебнице и приносили ей фиалки и другие цветы, потому что в первые дни после операции она ничего не должна была есть. Но теперь, дома, совсем другое дело. Я бы завтра охотно осталась дома и не пошла в школу, но мама сказала:

— Нет, дети, пойдите в школу, сделайте это для меня.

Конечно, мы пойдем, но следить за уроками я совершенно не смогу.

24 марта. Мама сейчас спит. Она еще очень плохо выглядит, и у нее все еще есть боли. Очевидно, врачи не очень-то много смыслят, потому что, если бы они ее оперировали как следует, у нее теперь, после второй операции, не было бы болей. Хотела бы я знать, о чем говорила мама с Дорой, потому что обе плакали. Хотя мы с Дорой сейчас и недурно ладим, все же она не хотела сказать мне об этом, а сказала только, будто она обещала маме ничего не рассказывать. Не думаю, чтобы мама поверяла Доре какую-нибудь тайну, но может быть это было что-нибудь насчет замужества, так как Дора только сказала:

— Впрочем, мама могла бы мне этого вовсе и не говорить, так как я и без того твердо решилась.

Ненавижу такие намеки, лучше уж вовсе ничего не говорить. Когда мама сможет встать, она поедет поправляться в Аббацию, вероятно и Дора поедет с нею.

26 марта. На будущей неделе мама и Дора должны уехать в Аббацию. Дора воображает, что я ей завидую; она сказала:

— Я бы охотно отказалась от путешествия и от моря, лишь бы мама была здорова. А сейчас, когда предстоят выпускные экзамены, мне и вовсе не хочется ехать.

Мне так грустно, что я совершенно больше не ношу красного банта, хотя он более всего мне идет. Большей частью я ношу теперь черный бант, а со вчерашнего дня—коричневый, так как мама сказала:

— Ну, Гретель, сними-ка ты свой черный бант, у него такой мрачный вид, и он вовсе к тебе не подходит.

Не могла же я сказать маме, каково у меня на душе; я взяла коричневый и сказала, что красный совсем помялся.

12 апреля. Я совсем не пишу. У нас все так грустно, мама чувствует себя очень плохо. Завтра приезжает Освальд на пасхальные каникулы, и мама ужасно рада его приезду. Я должна была ехать с Геллой и с ее папой в Мариа-Целль. Но я не поеду: мне и не хочется, да и маме, мне кажется, это будет приятнее, так как она сказала:

— Значит, на пасхе все трое моих любимцев будут со мною.

Когда она это сказала, я заплакала и выскочила за дверь, чтобы она не видела, что я плачу. Но она, наверное, видела, потому что после обеда она мне сказала:

— Гретель, если тебе хочется ехать с Брукнерами, то поезжай; я так счастлива, когда у вас есть какая-нибудь радость. Этой зимой у вас и без того не было никаких удовольствий.

И тут я не могла больше сдержаться, заплакала и сказала:

— Нет, мама, я совсем не хочу уезжать. Я хочу только, чтобы ты была опять совсем здорова.

Тогда мама тоже заплакала и сказала:

— Милая детка, совсем здоровой я, верно, уж никогда не буду, но мне бы так хотелось остаться с вами, пока вы все не станете большими; тогда я вам буду уже не так нужна.

Тут вошла Дора, и когда она увидела, что мама плачет, она сказала, что папа меня зовет. Но это была неправда, а вечером Дора мне сказала, что маме уже помочь нельзя, но что я не должна ее волновать и должна иметь

спокойный вид. И потом мы обе сильно плакали и обещали друг дружке, что всегда останемся с папой.

16 мая. Двадцать четвертого апреля, как раз в воскресенье после пасхи, мама умерла. У нас ужасно грустно. За столом никто почти не говорит ни слова. Только папа так ласково обращается с нами. Тетя Дора, может быть, навсегда останется у нас. Еще нет и трех недель, как маму похоронили, но нам кажется, что прошло уже три года, как мама умерла; это с одной стороны. С другой, мне хочется скорее пойти к ней в комнату, чтобы о чемнибудь ей рассказать. А по вечерам, когда мы ложимся, мы всегда долго говорим о ней, и тогда она мне снится всю ночь. Зачем люди умирают? Если бы хоть умирали только совсем старые люди, у которых никого больше нет. А мамы и папы никогда бы не должны были умирать. В ночь, после маминой смерти, Гелла хотела, чтобы я пришла к ним; но я охотнее осталась дома. Поздно вечером я не решалась пойти в переднюю, и Дора пошла со мною. Папа запер дверь в гостиную, где лежала мама, и все-таки было ужасно жутко. Двадцать четвертого меня разбудили, когда мама уже умерла; я бы так хотела еще повидать ее до этого. О, боже, зачем это нужно умирать. Если бы меня хоть звали Бертой как маму; но она не хотела, чтобы которую-нибудь из нас называли в честь ее, также как папа не хотел этого для Освальда.

19 мая. Одно только меня ужасно обозлило во время маминых похорон, собственно, не обозлило, а обидело, а именно то, что Дора шла с папой как в церковь, так и из церкви. Ведь обычно всегда я хожу с папой, а Дора всегда ходила с мамой. Когда бедная мама лежала в лечебнице, Дора ходила с тетей. Но во время похорон она шла с папой, а мне пришлось идти с тетей Дорой. Через

несколько дней я ей об этом говорила, но она сказала, что это вполне естественно, потому что она старшая. Освальд должен бы был идти со мной, это было бы прилично. Но он шел один. И это тоже сердит меня: когда тетя Дора осенью пришла к нам, мы с Дорой за обедом и за ужином стали сидеть с одной стороны, а тетя сидела против мамы, и когда мама слегла, ее место оставалось свободным для тарелок. После ее смерти Освальд сидел с четвертой стороны, а сейчас, вот уже с неделю, как Дора уселась на мамино место. Не понимаю, как папа это допускает.

19 мая. Сегодня за обедом никто ничего не ел. У нас была телячья грудинка, и в день маминых похорон у нас тоже была грудинка, и когда подали на стол жаркое, я случайно взглянула на Дору и вижу, что она покраснела и ужасно всхлипывает. Тогда я не могла больше удержаться и говорю:

— Я не могу есть телячьей грудинки, потому что в день похорон..., — тут я не смогла больше говорить, а папа сразу встал и подошел ко мне, и Дора и тетя тоже ужасно расплакались. И после обеда тетя нам обещала, что никогда в жизни у нас не будет больше телячьей грудинки. Тетя потом к ужину послала за ульмерским пирогом, потому что за обедом мы почти ничего не ели.

26 мая. Сегодня у Доры первый день экзаменов, письменная работа. Папа хотел, чтобы она бросила занятия, потому что очень плохо выглядит, но она не захотела, говорит, что это для нее развлечение и что она все же хочет кончить, потому что она и в будущем году хочет учиться, чтобы готовиться в гимназию. Собственно, ей бы следовало поступить в школу танцев, ведь ей уже будет семнадцать, но, по случаю траура, это совершенно

невозможно, да и сама она, кроме того, не хочет; это само собой разумеется. Директриса тоже думала, что Дора уйдет из школы, потому что она такая нервная, но она ни за что не хотела. Господи, как ласковы были к нам все преподаватели после маминой смерти, то-есть дамы. Профессора не интересуются нашими домашними делами, потому что приходят всегда на час или на два. Г-жа Штейнер, которая нынче даже уже не преподает у нас, была великолепна; я ясно видела, что у нее были слезы на глазах, и г-жа М., впрочем, та—вообще ангел. На весеннем празднике двадцатого мая мы не были, хотя папа и предоставил нам решение. Гелла и Аннелиза меня ужасно уговаривали: но я не пошла, да и никогда, конечно, не буду уже веселиться. Другим, говорят, было весело, но для нас с Дорой это было бы ужасно. Часто по вечерам я думаю, что все это совсем не правда, что мама только во Франценсбаде и вернется. И тогда я плачу, пока голова не заболит, или пока Дора не скажет: «Прошу тебя, Гретель, перестань, это ужасно». Но ведь она и сама часто плачет, я это прекрасно слышу, только я никогда ничего не говорю.

4 июня. Итак, Дора видит в маминой смерти наказание божие для папы. Но мы-то чем виноваты? Правда, она говорит, что и мы не всегда поступали как следовало, прежде всего, что у нас были тайны от мамы. И это теперь наказание божие. Это ужасно, и я теперь так боюсь, потому что она все говорит про «око» и про «перст божий»; боюсь ходить в темную комнату, потому что мне все кажется, что там кто-то есть, на меня ужасно смотрит и хочет меня тронуть.

8 июня. Папа страшно зол на Дору: вчера вечером, когда я отворила дверь в гостиную и оттуда вышел папа,

я, не желая этого, громко вскрикнула, и когда папа спросил, что со мной, я рассказала ему о наказании божием; о нем я не говорила, только о Доре и о себе. И тут папа ужасно рассердился, в первый раз после маминной смерти, и сказал Доре, чтобы она не смела себя и меня расстраивать такими небылицами, и тогда с Дорой чуть не сделался сердечный припадок, так что пришлось звать врача. Тетя легла в нашу комнату, и нас обеих заставили принять бром.

А сегодня папа был ужасно ласков с нами и сказал:

— Детки, вы всегда были добрыми, хорошими девочками и такими же, надеюсь, останетесь.

Да, конечно, этого и я хочу, потому что мама следит за нами. Гелла находит, что у меня болезненный вид, и сегодня она меня спросила не...? Но я ей только сказала, что о таких вещах не хочу больше говорить, что из памяти о маме не должна говорить об этом. Она хотела мне что-то сказать, но я сказала:

— Нет, Гелла, об этом я абсолютно больше не говорю. Ты не можешь меня понять, потому что твоя мама еще жива.

12 июня. Господи, это ужасно. Я никогда больше не хотела думать о таких вещах, и вдруг—такая история. Теперь я без вины попала в беду. Сегодня, скоро после девяти, на урок математики приходит девочка из второго класса и говорит:

— Директриса просит сейчас же выслать Лайнер, Брукнер и Франке в канцелярию.

Все девочки смотрят на нас, но мы не знаем, в чем дело. Когда мы пришли в канцелярию, дверь к директрисе была закрыта, и фрейлейн Н. говорит, чтобы мы обождали. Потом вышла директриса и позвала меня.

В ее комнате сидит дама и смотрит на меня через лорнет.

— Ты часто ходишь с Церквиц? — спрашивает директриса.

— Да, — говорю я и сразу предчувствую какую-то грозу.

— Эта дама — мама Церквиц. Она жалуется, что ты с ее дочерью ведешь разговоры о совершенно неподходящих вещах. Так ли это?

— Мы с Геллой никогда не хотели о чем-либо говорить ей, но она сама нас очень просила, и потом мы думали, что она и без того это знает и только представляется.

— Что «это» значит, и о чем вы говорили? — сорвалась мама Аннелизы.

— Пожалуйста, — говорит директриса, — я допрошу девочек. — Значит и Брукнер была с вами?

— Только очень редко, — говорю я.

— Да, главная виновница это Лайнер, мама которой только недавно умерла.

Тогда я, сдержав слезы, сказала:

— Если бы Аннелиза всегда не начинала об этом, мы бы ни слова не говорили об этих вещах.

А потом я вообще больше не отвечала. Теперь призывали Геллу. После она мне говорила, что, взглянув на меня, она сразу поняла, в чем дело.

— О чем вы говорили с Церквиц?

Сперва Гелла не хотела ничего отвечать, но потом коротко сказала:

— О рождении детей и о замужестве.

— Боже правый, такие младенцы и говорят о таких вещах, — сказала мама Аннелизы. — Какие испорченные создания!

— Мы не думали, что Аннелиза действительно ничего не знает, а то бы мы с ней ни о чем не говорили,— сказала и Гелла; она была великолепна. — Что касается Альфреда, то здесь мы совсем не при чем, и мы ей часто советовали не позволять ему приходить за ней в школу; но она не слушалась наших добрых советов.

— Я говорю теперь о ваших разговорах, которыми вы испортили бедного, невинного ребенка, — сказала г-жа фон-Церквиц.

— Она уже знала что-то, непременно, иначе она не ходила бы с Альфредом и с нами,—сказала Гелла.

— Ах, боже мой, эта хуже всех; такая испорченность!

Тут мы должны были выйти. За дверью Гелла принялась страшно плакать, и я тоже, так как мы боялись того, что будет дома. Мы не могли идти на урок математики, потому что были совсем заплаканы. На перемене Гелла прошла мимо Аннелизы и громко сказала:

— Предательница,—и плюнула при этом.

За это она должна была выйти из рядов. Я тоже вышла из рядов, и, так как г-жа Крейндль сказала:

— Не ты, Лайнер, проходи дальше,—я сказала:

— Пожалуйста,—и я тоже плюнула, и стала рядом с Геллой.

Все девочки смотрели на меня. Г-жа Крейндль, очевидно, знает все, потому что она ничего не сказала. На немецком уроке, от одиннадцати до двенадцати, г-жа М. сказала:

— Дети, неужели вы не можете успокоиться? Эти вечные истории ужасны, и из этого ничего не выходит, кроме волнений для вас, ваших родителей и нас.

Незадолго до двенадцати меня с Геллой еще раз вызвали к директрисе.

— Девочки,—сказала она,—что у вас за отвратительные привычки. Неужели вы должны все, что преждевременно отравляет вашу фантазию, передавать еще и другим? А тебе как не стыдно, Лайнер! Несколько недель тому назад схоронили твою маму, а теперь о тебе приходится слышать такие вещи.

— Позвольте сказать,—говорит Гелла;—это все было еще весной и даже зимой; мы тогда еще катались на льду. Тогда Ритина мама была почти здорова. И Церквинц страшно приставала к нам, сказать ей все. Я часто предостерегала Риту и говорила: «не доверяй ей», но она была совершенно влюблена в Церквинца. Пожалуйста, не говорите ничего об этом Ритиному папе; он будет очень огорчен.

Гелла была просто великолепна. И этого я ей никогда не забуду. Она не позволяет мне писать об этом; мы ведь пишем вместе. Гелла считает, что мы должны записывать все дословно; никогда нельзя знать, для чего это может понадобиться. Гелла—подруга, какой другой не сыщешь, и при этом такая смелая и умная.

— Ты совершенно так же умна,—говорит она мне,—только робка и потом еще, со смерти твоей мамы, ты очень нервна. Только бы твой папа ничего не узнал.

Глупая гусыня выкопала еще старую историю со студентами на катке, которая давно забыта.

«Только никому не доверяться», говорит Гелла, и в этом она, действительно, права. Этого я никогда не ожидала от Аннелизы. Что было с Франке, мы еще не знаем. Выйдя, она приложила палец к губам, что должно было, конечно, означать: «Ничего не выдавала».

15 июня. Сегодня был у нас окружной инспектор. Был как раз урок математики, и я стояла у доски, как

вдруг стучат, и входят директриса и инспектор. В первый момент я подумала, что он пришел по этому делу, и смертельно побледнела (то-есть это потом мне сказали все девочки; Гелла говорит, что я выглядела, как скорбная Ниобея). Слава богу, задача была нетрудная, и потом я всегда решаю все задачи; по математике и по французскому я самая первая. Но инспектор увидел, что у меня слезы на глазах и сказал что-то директрисе; директриса ответила:

— Она недавно потеряла свою мать.

Тогда инспектор похвалил меня, а я, дуручка, принялась выть. Директриса говорит:

— Садись же, Лайнер, садись, — и гладит меня по голове. Она так добра, и я надеюсь, что она и г-жа М. на совете заступятся за меня. Только бы папа не узнал ничего; он, разумеется, будет делать мне страшные упреки, так как все это случилось так скоро после смерти мамы. Но, собственно, все происходило гораздо раньше. А вышло наружу потому, что мама Геллы поехала к своей замужней племяннице, Эмми, у которой родился первый ребенок. И тогда мы все рассказали «чистому ребенку» (так мы называем теперь притворщицу). Гелла все еще того мнения, что «чистый ребенок» притворялась. Это возможно, так как в конце концов ей тоже уже скоро четырнадцать лет; а в четырнадцать девочка, наверное, знает уже очень многое; невозможно в эти годы верить в аиста, как, будто бы (!!!), верила Аннелиза. Гелла говорит, что я тоже теперь скоро «сформируюсь», потому что у меня постоянно синяки под глазами. Что г-жа фон-Церквид сказала «такие дуры», это я прослушала, но Гелла говорит, что директриса шопотом возразила ей на это. По поводу выражения «такие дыплята» Гелла

корчилась от смеха, так как ее мама в подобных вещах тоже всегда говорит: «А вас, цыплята, это еще не касается».—Боже мой, когда же мы должны все узнать, если нам скоро четырнадцать? Мы обе, Гелла и я, собственно, очень рано узнали эти вещи, и это нам нисколько не повредило. Геллина мама всегда говорит, что если слишком рано будешь знать эти вещи, то скоро лицо будет как у старухи; но это, разумеется, неправда. Почему же матери не хотят, чтобы мы это знали? Должно быть, они просто стесняются.

16 июня. Вчера вечером, когда мы уже лежали в постели, Дора говорит:

— О чем ты, собственно, говорила с Ц., или как ее там зовут? Директриса вызвала меня сегодня в канцелярию и сказала, что ты говоришь неподобающие вещи. Я должна следить за тобой вместо матери.

Ну, как бы не так! Впрочем, все это было еще тогда, когда мама была жива. Ведь матери никогда не знают того, о чем говорят между собой дети. Дора думает, что я получу на совете письменный выговор. Это было бы страшно неприятно из-за папы; снова поднимется ужасный скандал; хотя папа, по правде, теперь всегда очень добр ко мне; со времени болезни мамы я ни разу не имела от него неприятностей. Это правда, смерть делает людей мягкими, но почему? Собственно, они должны бы делаться злыми, испытывая сильное огорчение. На прошлой неделе поставили памятник, и мы все были при этом. Я хотела бы побывать на кладбище одна, так как при других очень стесняешься плакать.

18 июня. «Чистое дитя» больше не ходит на гимнастику; по крайней мере, с тех пор ее там не бывало. Мы думаем, она побаивается, хотя мы, все равно, ничего бы

не сказали ей. Мы наказываем ее немим презрением, это всего чувствительнее. И на теннис она, слава богу, не ходит. Фальшивый человек—это хуже всего, никогда не знаешь, как к нему относиться. Если кто-нибудь сочиняет небылицы, я могу ему, по крайней мере, сказать: «Полно, прошу тебя, не ври так откровенно; я ведь не дуручка». Но против фальши нет никаких средств. Поэтому-то я не выношу и кошек. Мы называем «невинного ребенка» еще и «рыжей кошкой». Я думаю, она это знает. После завтра предстоит экскурсия лицей в Карнунтум. Я безумно рада. В половине восьмого мы должны уже быть на пристани.

21 июня. Экскурсия была безумно хороша. Гелла должна была зайти за мной. Но она очень опоздала, ее мама взяла авто, и я, к счастью, дождалась ее. Я всю жизнь любила ездить на авто. Дора не хотела ждать меня и поехала уже в три четверти седьмого на трамвае. В четверть восьмого приехала Гелла на авто, и как раз в тот момент, когда пароход снимался с якоря (мне кажется, что так можно говорить только о парусном судне на море, но это ничего, я не Марина, которая знает все насчет флота), подоспели и мы, как раз во-время. Все смотрели на нас, когда мы подъезжали на авто. Слезая, я упала. Это было глупо; но я думаю, это не все заметили. Тетя Дора сказала, что на один день мы можем снять траур, папа тоже сказал это, и мы надели белые вышитые платья. А тетя Дора была так мила и сделала нам черные шарфы вместо поясов; это безумно элегантно; говорят, что так носят траур в Америке. Я влюблена в Америку, страну свободы. Там мальчики (то-есть молодые люди) и девочки ходят вместе в школу!! Ну, буду лучше говорить об экскурсии. На пароходе мы сидели рядом с г-жою М.; она была

страшно мила; направо—Гелла, налево—я, так тесно прижавшись, что она сказала:

— Дети, вы раздавите меня, или, по крайней мере, мое платье!

Она тоже надела белое платье, а на шею нитку кораллов, которые идут к ней просто изумительно. Когда мы приехали уже в Гайнбург, у Геллы упала шляпа в Дунай, и все девочки закричали, думая, что в воду упал ребенок. Но, слава богу, это была только шляпа. Мы пошли на Шлоссберг и оттуда любовались прекрасным видом, то-есть я любовалась только г-жей М., которая была так прекрасна; профессор Вильке был тоже с нами и шел рядом с ней. Все девочки говорят, что он, вероятно, скоро женится на ней—быть может, уже на каникулах. Господи, если это правда, то это ужасно. Гелла думает, что это совершенно невозможно из-за профессора немецкого языка; она должна бы скорее выйти за профессора В., чем за другого, так как он, говорят, еврей.

— Ну, да, но во всех прочих отношениях они одинаковы,—сказала я.

— Но это же самое главное, дурочка,—говорит Гелла.

А г-жа М. и говорит:

— Вот что ты позволяешь себе говорить своей подруге. Что же самое главное?

Я уже собираюсь ответить: «Мы не можем сказать этого»,—но Гелла заметила это и говорит:

— Именно потому, что я ее друг, я могу это говорить.—Другой она бы этого не позволила.

Потом мы пошли обедать. К сожалению, мы сидели не рядом с «Нею». Мы заказали себе шнитцель и четыре шоколадных торта. А учитель закона божьего, проходя мимо нас, сказал:

— Когда это вы успели проголодаться?

Перед обедом мы ходили в музей осматривать результаты раскопок. Директриса и фрейлейн Ф. все объясняли.

Наши знания очень обогатились. После обеда мы отправились в Дейч-Альтенбург. За завтраком было страшно весело. Мы играли в разные игры, и весь педагогический персонал—с нами. Пятый класс разучил веселую комедию, сочиненную одной ученицей. Мы покатывались со смеха. Вдруг явилась целая толпа офицеров-летчиков, страшно шикарных, а один сел за рояль и заиграл танцы. Другой подошел к директрисе и просил ее, чтобы она разрешила «барышням» потанцевать. Директриса сначала не хотела, но все из пятого и шестого класса страшно упрашивали. А учитель закона божьего сказал:

— Г-жа начальница, предоставьте им это невинное удовольствие,—и тут они могли уже потанцевать, как следует. Мы, остальные, или танцевали друг с другом или смотрели. Вдруг мы, Гелла и я, оказались впереди, и тут подошел очаровательный лейтенант и говорит:

— Могу я разлучить подруг на коротенький танец?

— Пожалуйста,—сказала я,—и уже полетела с ним.

Танцевать с лейтенантом—восхитительно. Потом тот же лейтенант танцевал с Геллой, и она сказала вечером, на обратном пути, что лейтенант, собственно, хотел сначала танцевать с нею, но я сейчас же сказала ему «пожалуйста» и положила ему руку на плечо. Это, конечно, неправда. Но из-за этого же не ссорятся со своим лучшим другом. В конце концов он же танцевал с обеими. К сожалению, мы не могли долго танцевать, потому что были разгорячены. Да, я было совсем забыла, один капитан с черными усиками поклонился г-же М., так как оказался знаком с нею. Она сильно покраснела; значит, это,

вероятно, он, а не профессор Вильке и не профессор-еврей, за кого она выйдет замуж. Мне тоже он безусловно больше нравится. Боже мой, они все были такие шикарные. Прежде чем мы отправились домой, один обер-лейтенант принес целый букет роз, а офицеры роздали по цветку учительскому персоналу, то-есть дамам. Тут произошло нечто очень комическое. В шестом классе есть девица, которая выглядит так старообразно, как будто ей двадцать четыре года, и «наш» лейтенант дал и ей розу. Она сказала:

— Благодарю, я не учительница, я ученица шестого класса.

Все страшно смеялись, — она очень сконфузилась, что лейтенант принял ее за учительницу, а учитель закона божьего сказал ей:

— Чапперль, ты могла бы взять цветок.

Но, собственно, она была совершенно права. Я думаю, там было, по крайней мере, двадцать офицеров. Гелла, разумеется, сказала лейтенанту, что она дочь полковника. Увидим ли мы его когда-нибудь?

Я пишу это, четыре дня спустя после экскурсии. Вчера Дора сказала мне, что преподаватель закона божьего сказал директрисе, когда я неслась в объятиях лейтенанта:

— Посмотрите на младшую Лайнер, вот плутовка, как она делает глазки.

Как это делают глазки? Я вовсе не делала глазок; вообще, что значит — «делать глазки». Разумеется, я не закрывала глаз; иначе я могла бы упасть, и все стали бы смеяться. А я не люблю, чтобы надо мной смеялись. Дору я, собственно, не видела во все время экскурсии, и она не танцевала. Она сказала колко:

— Разумеется, нет, ведь мы же в трауре, хотя и в белых платьях. Ты же ребенок, которому такие вещи не поставят в вину.

Такие вещи, точно я бог знает что сделала! Разве я не люблю маму и забываю о ней? Папа — тот совсем другой; позавчера вечером он сказал мне:

— Вот как, моя ведмочка одержала победу: ну, ты рано начинаешь. Но с офицером не стоит связываться, моя ведмочка. Они очень дорого стоят.

Ну, лейтенант был бы мне очень по душе, я полетела бы с ним по воздуху на аэроплане, высоко, высоко, пока у нас обоих не закружится голова. Вчера на уроке закона божьего, когда вошел профессор, он страшно смеялся и сказал:

— Ну, Лайнер, у тебя все еще кружится голова? Г-н лейтенант совсем не может спать.

Он, значит, с ним знаком. Разумеется, я знаю, что не из-за меня он не может спать, но он его заметил. Если бы я знала, как его зовут—может быть Лео или Ромео. Да, Ромео, это чудесно идет к нему!

26 июня. Вчера, как раз в то время, когда я была погружена в писание, пришли тетя Альма с Мариной и этим баловнем Эрвином, который, в сущности, тогда был кругом виноват во всей истории. Со смерти мамы мы опять встречаемся. Я думаю, что мама не очень любила тетю Альму, как и та ее, совершенно так же, как папа и тетя Дора не очень долюбливают друг друга. Это бывает, впрочем, в большинстве семейств, что отец не любит сестер и братьев матери, и наоборот. Но почему собственно? Есть ли у него невеста? Вероятно, есть; как она выглядит? Я хотела бы знать, увлекается ли он шатенками, блондинками или брюнетками. Ну, значит, пришли гости. Мы были, разумеется, очень холодны друг с другом—Марина и я. Она очень возомнила о себе, что учится в учительском институте. Как будто бы это что-нибудь особенное!

По-моему, людей бесспорно выше, так как из людей можно поступить в университет, а из учительского института нельзя; и они не учат английского и французского как следует, а лишь тот, кто пожелает. Так как тетя Альма знает, что папа сердится, если кто-нибудь находит, что у нас плохой вид, то она сказала:

— Боже, какой вид у Доры, она совсем переутомила; слава богу, что она скоро кончит; в сущности, ей не много прибыли от этого, для девушки лучше быть учительницей.

Эрвин заерзал на стуле и сказал мне:

— Ты думаешь, я решусь плюнуть на ковер, или думаешь, что нет?

— Ты достаточно невоспитан для этого; я только не понимаю, почему Марина, будущая учительница, не отхлопает тебя по твоей дерзкой физиономии,—сказала я.

Тут вмешалась тетя Альма:

— Дети, что это у вас такое? Что это у вас там за шутки?

— Это вовсе не шутки: Эрвин хочет плюнуть на ковер, и от него это может случиться.

Тетя сказала ему что-то по-итальянски, и он показал мне за спиной папы длинный нос, что я просто игнорировала; такой дурак, а тоже кузен! Говорят, Камилло тоже был таким дерзким в детстве. Но он ни разу не был у нас, потому что он уже два года в Японии прапорщиком. Марине траур решительно не идет; у нее есть что-то провинциальное, и от этого она абсолютно не может избавиться. Ее платья слишком длинны, и гр... у нее нет и признака, хотя ей в декабре исполнилось уже семнадцать лет. Она худа до отвращения.

27 июня. Сегодня был у нас окружной инспектор, и как раз на французском. Г-жа Дункер всегда страшно волнуется и сказала в начале урока:

— Дети, сегодня придет г-н инспектор; возьмите себя в руки; прошу вас, не подведите меня.

Значит, это правда, как всегда говорил Освальд, что инспектора приходят наблюдать за учителями, а не за учениками. «Во время инспекции,—часто говорил Освальд,—каждый ученик держит профессора в руках». Первой, разумеется, была вызвана я. И вот, я абсолютно не понимаю, что значит «trotteur», мне не хотелось сказать «Trottel» *) и я не сказала ничего. Тут Аннелиза обернулась и подсказала мне, но я, разумеется, не повторила за нею, а оставалась нема, как рыба. Наконец, инспектор сказал:

— Переведите фразу до конца, тогда смысл будет для вас ясен.

Но я нахожу, что это неправда; если я не знаю одного слова, то фраза не имеет для меня смысла, или, по крайней мере, не имеет того смысла, который должна иметь. Если бы Гелла сегодня не отсутствовала из-за..., она, может быть, подсказала бы мне. После г-жа Дункер делала мне упреки, что ни на кого нельзя положиться, и что я, собственно, не заслуживаю даже единицы.

— А самое глупое это то, что ты смеялась, когда не знала даже такого простого слова.

Не могла же я сказать ей, что в первую минуту я хотела перевести «Trottel». Нелепые переводы à livre ouvert для нас слишком трудны.

28 июня. Сегодня заключительный Совет. Я страшно волновалась, получу ли я выговор, или, может быть, сбавку за поведение. Это было бы ужасно. Гелла не очень беспокоится, потому что ее папа едет теперь как раз на

*) «Trotteur» по-французски рысак, «Trottel» по-немецки дурак.
Примечание переводчика.

маневры в Венгрию или в Боснию и пробудет на них так долго, что начнутся каникулы, и никто уж не будет думать об аттестате. Значит, завтра я это узнаю. Нет, боже мой, завтра праздник, а послезавтра—воскресенье. Стало быть, еще два с половиною дня я должна «ждать и томиться тревожной тоской», хотя и в другом смысле, чем сказал Гёте.

30 июня. Послужаю выпускных экзаменов Доры («пытки», как говорит всегда Освальд, играя словами «matura» и «martura») вчера и сегодня после обеда мы были дома. Брукнеры поехали в Брейтенштейн навестить тетку, которая живет в санатории, и потому я не могла поехать с ними. Вечером мы пошли ужинать в Тюркеншанд-парк, но ничего не случилось. Да, я совсем забыла написать о «чистом ребенке», во время экскурсии. Уже на пароходе она несколько раз увивалась вокруг Геллы и меня и хотела вмешаться в разговор, — разумеется, не прямо. Но ей это не удалось; особенно Гелла великолепна в этом отношении, она просто ее не замечает. Мне, в сущности, стало жалко ее, так как у нее нет никаких настоящих подруг, кроме нас двоих; но Гелла сказала:

— Разве мало с тебя? Хочешь еще раз попасть в такую переделку?

А когда у Геллы упала в воду шляпа, и мы все следили глазами за шляпой и безумно смеялись, Аннелиза вдруг становится взади нас и предлагает Гелле тонкий кружевной платок, который она взяла для вечера, так как у нее всегда колет в ушах.

— Не хочешь ли взять платок, чтобы не идти по Вене без шляпы?

— Прошу не беспокоиться, я привыкла ходить с непокрытой головой,—но как она это сказала, точно королева!

Этому я должна научиться у нее. Она, скорее, ниже меня, но выглядит, как совсем взрослая дама. Я сказала ей это, и она возразила:

— Милая Рита, этому нельзя выучиться, это природное.

Это меня, по правде сказать, раздосадовало. Она всегда думает, что офицерская дочка—это что-то необыкновенное.

1 июля. Слава богу, все обошлось без скандала. Г-жа М. сказала мне в коридоре:

— А ты, Лайнер, избавилась от большой неприятности. Если бы не было голосов в твою пользу, то я не знаю...

Я сказала:

— Я знаю, вы одна спасли меня от сбавки за поведение,—и быстро поцеловала ей руку.

— Перестань, малышка; с одной стороны, ты как ребенок, а с другой, у тебя голова набита мыслями, по меньшей мере лишними в твоем возрасте.

Но, в конце концов, со своими мыслями, действительно, ничего не поделаешь, а на будущее время мы станем лучше приглядываться к людям, с которыми говорим о таких вещах. Вот чего я еще не написала об экскурсии: когда мы приехали в Вену по железной дороге, большинство родителей встретили своих детей. Тут был и наш папа и мать «чистого ребенка». Слава богу, что она не знакома с папой. Когда мы вышли из вагона, образовалась большая давка, так как все спешили к своим родителям, и вдруг я слышу голос Геллы:

— Нет, милостивая государыня, ваша дочь не находится в нашем дурном обществе.

Я сейчас же оборачиваюсь и вижу, Гелла стоит перед г-жой фон-Церквиц. Оказывается, та спросила ее:

— А, это вы, где моя маленькая Аннелиза?

Она получила хороший урок; я никогда бы этого не придумала. Меткие ответы мне всегда приходят задним числом. Потому-то и тогда, в театре, когда старый господин спросил Геллу, одна ли она, а она его отшила, он сказал ей: «дерзкая еврейка», или: «дерзка, как еврейка». Это было глупо; во-первых, это не дерзость, если находишь меткий ответ, а, во-вторых, для этого не нужно быть еврейкой. И Гелла ему тогда на это сказала:

— Нет, вы ошибаетесь, я не такая, как вы.

Шестого уже конец; но из-за выпускных экзаменов Доры мы должны оставаться здесь до одиннадцатого. Потом мы поедем в Фибербрунн, в Тироле, и будем жить в этом году в отеле, чему я страшно рада. Гелла в прошлом году провела там время великолепно.

2 июля. Боже, сегодня у меня... Нет я не могу этого написать. На уроке физики, во время повторения, когда я ни о чем не думала, входит фрейлейн Н. с бумагой для подписи. Пока мы встали, я думаю: «что это такое?» И сейчас мне приходит в голову: «ага!!» На перемене Гелла спрашивает меня, почему я так густо покраснела на уроке физики. Не подавилась ли я конфеткой? Я не хотела ей сразу сказать настоящей причины и сказала:

— Нет, я почти заснула от скуки и вздрогнула, когда вошла фрейлейн Н.

Когда мы шли домой, я была очень молчалива и шла так медленно (не следует ходить быстро, когда...), Гелла сказала мне:

— Скажи мне, пожалуйста, что с тобой сегодня, что ты такая торжественная? Ты влюбилась без моего ведома или быть может...?

Я сказала:

— Или — быть может.

А она говорит:

— Ну, значит, теперь ты опять со мной сравнялась.— И тут же на улице дает мне пощелуй. Тут как раз проходили два студента, и один из них сказал:

— И мне один.

А Гелла говорит:

— Да, одну по щеке, горяченькую.

Тут они быстро отскочили. Сегодня они нам, действительно, были не нужны!! Гелла хотела, чтобы я ей рассказала все в подробностях. Но мне, по правде, нечего сказать, а она думает, что я не хочу ничего говорить. Это действительно очень неприятно, и потом сегодня вечером я должна, раздеваясь, быть страшно осторожной перед Дорой. Но тете я должна все сказать из-за... Это мне страшно тяжело. С Геллой все это было иначе, во-первых, потому что у нее раньше были такие ужасные судороги, и ее мама поэтому уже знала, а во-вторых, именно потому, что это ее мама. Доре я этого не скажу ни за что, а не то это будет меня стеснять еще больше. А... я никогда не могла бы купить себе сама, даже, если бы мне было восемьдесят лет. А если бы папа это узнал, это было бы ужасно. Знают ли вообще мужчины об этом? Быть может, о своей жене, но о дочерях уж, конечно, нет.

3 июля. Дора все-таки узнала. Я потушила свет перед тем, как раздеваться, и Дора закричала:

— Что это за глупые шутки, поверни выключатель.

— И не подумаю.

Она бежит сама и хочет повернуть его.

— Прошу тебя, оставь, пока я не лягу в постель.

— Ах, так,—говорит Дора,—почему ты сразу этого не сказала, я дам тебе пока мои... У тебя совсем нет...

И потом мы говорили очень долго и много друг с другом и она сказала мне, что мама поручила ей сказать мне все, когда... Ей об этом сказала мама, но она говорила, что лучше всего, когда об этом девушка узнает от девушки, так как при этом меньше стесняются. Мама знала и то, что Гелла... уже в январе. Но каким образом? Я никогда не могла ни о чем догадаться. Было уже двенадцать часов, когда мы погасили свет.

6 июля. Боже мой, я так несчастна; сегодня, когда мы получали аттестаты и, прощаясь с г-жей М., благодарили ее, она была страшно мила и добра и под конец сказала:

— Я надеюсь, что вы не очень осрамите меня перед моей заместительницей или заместителем.

Сперва мы ее совсем не поняли и думали, она хочет сказать, что никогда нельзя рассчитывать, что учительница останется в том же классе. Но она сама сказала:

— Я оставляю училище, потому что выхожу замуж.

Я почувствовала удар в сердце и сказала ей:

— Боже, это невозможно.

— Да, да, Лайнер, это правда.

Все дети теснились к ней и хотели поцеловать ей руку. На мгновение все стихло, и тут Гелла сказала:

— Могу я вас спросить об одной вещи? Только, пожалуйста, не сердитесь.

— Ну, спрашивай.

— Это капитан, который был в Карнунтуме?

Сначала она посмотрела удивленно, а потом громко рассмеялась:

— Нет, Брукнер, это не он, он уже женат.

А Гилли, которая не была так влюблена в нее, как Гелла и я, сказала:

— Пожалуйста, скажите нам, за кого вы выходите замуж?

— Это не тайна, я выхожу за одного профессора в Гейдельберге.

И потому-то она должна была уйти из людей. Для меня все каникулы испорчены. У Геллы бывают великолепные идеи. Дети никак не хотели уходить и собирались провожать учительницу до дому. Но она сказала:

— Милые дети, это никак невозможно. Я еду в Пуркерсдорф к моим родителям.

И тут-то Гелле пришла в голову ее божественная идея. Все говорят:

— Позвольте проводить вас до железной дороги, — и, наконец, она позволяет. А Гелла говорит:

— Идем.

Мы бежим вперед на железную дорогу и берем билеты до Гюттельдорфа, чтобы нам успеть во-время вернуться домой, и вот, когда мы уже ждем на платформе, приходит она и с нею все дети — до решётки. Мы бросаемся к ней и вместе садимся в поезд, который только что подошел. Конечно, мы взяли билеты второго класса, потому что Гелла, как дочь офицера, может ездить только во втором классе, а г-жа М. ездит всегда во втором. И мы садимся втроем на двухместный диванчик, несмотря на то, что было страшно жарко. Она была безумно мила; я просила у нее карточку, и она обещала нам прислать. Но, к сожалению, мы уже подъехали к Гюттельдорфу.

— Дети, теперь вы должны выходить.

Тут мы обе страшно заплакали, и она нас поцеловала. Никогда я не забуду этого мгновения, полного блаженства, и этого божественного путешествия! Пока еще можно было видеть поезд, мы махали платками, и она тоже махала. Когда мы хотели отдать при выходе наши билеты, Гелла повсюду искала свое портмоне и не нашла его. Она,

должно быть, оставила его у кассы. По счастью, у меня были с собою все мои карманные деньги за июль, и мне пришлось заплатить штраф. Один раз и я оказалась более умной; я сказала, что мы ехали в третьем классе и только прошли через второй; поэтому нам не пришлось платить такого большого штрафа. Никто от этого не страдает, такой обман можно себе позволить. Разумеется, назад мы поехали, на самом деле, в третьем, хотя Гелла сказала, что это портит ей воспоминание. Для меня это ничего не значит, я не обращаю такого внимания на «среду», как Гелла. Мы пришли домой только в четверть второго и тетя Дора страшно бранилась. Я сказала, что приводила в порядок книги в библиотеке, но Дора справлялась в лицее в двенадцать часов, и там никого не было. Тогда мы сказали, что мы как раз тогда ушли и немного проводили г-жу М., так как она, по случаю своей свадьбы, уходит от нас. Дора была очень удивлена и сказала:

— А, теперь я понимаю.

Когда она была недавно в учительской комнате, преподаватели говорили о какой-то помолвке, и фрейлейн Тим сказала:

— Не каждый имеет счастье подцепить профессора университета.

Она метила в Нее. Ну, Тим, наверное, никого не подцепит, даже сторожа. Сегодня, я пишу уже два дня спустя, у меня безумная радость: Она прислала мне свою карточку. Просто божественно! Папа говорит, что на карточке она красивее, чем на самом деле. Но это неправда, она чудная, эти глаза и этот взгляд, полный души. Гелла, разумеется, также получила карточку. Мы закажем маленькие сумочки с отверстием нарочно для карточки, чтобы всегда могли носить ее с собой. Но нам придется

подождать до каникул, так как Гелла потеряла свои деньги, а я свои должна была почти все отдать за штраф. А такая сумочка будет стоить кроны три. Но у папы есть прозрачные нервущиеся конверты, я попрошу у него два, и в них пока будем держать карточки.

Завтра у Доры последний экзамен, она уже очень волнуется, хотя, все равно, все знает. Но она говорит, что с каждым может что-нибудь случиться. А папа насколько не волнуется, только из-за Освальда в прошлом году он очень волновался, и бедная милая мамочка тоже страшно беспокоилась за него:

— Ба, — сказал Освальд, — я им покажу, что им не к чему придаться; нужно только быть наглым на экзаменах, в этом вся штука.

Он телеграфировал только одно слово: «Кончено», и бедная мама все еще боялась и думала, что это может значить провалился. Но, разумеется, это значило выдержал, так как тем временем пришла уже вторая телеграмма, и тогда папа привез с собою в Родау две бутылки настоящего шампанского, когда вернулся Освальд. После экзаменов Доры этого не будет, так как мамочки уже нет; о, это так ужасно, когда я думаю, что еще два с половиной месяца тому назад она была жива, а теперь...

9 июля. Сегодня перед обедом, когда Дора была на экзаменах (она кончила с наградой), я была одна на кладбище. Тете Доре я сказала, что пойду с Геллой и ее мамой делать покупки, а Гелле сказала, что иду с тетей; так я доехала до Пецлейнсдорфа и дошла до кладбища. На кладбище всегда нужно ходить одной. Кроме меня на кладбище никого не было. Я не решалась долго оставаться там, чтобы не опоздать домой. До Пецлейнсдорфа страшно далеко, а когда едешь одна, то всякая дорога

кажется длинной. Когда я шла назад, я пошла не в том направлении и очутилась на совершенно пустынной улице около Тюркеншанца. Это было очень неприятно, и сначала кругом никого не было видно, кого я могла бы спросить. Тут, по счастью, подошла одна старуха, я спросила у нее дорогу; она сказала мне, что я должна свернуть в ближайшую улицу и выйду к трамваю. Это так и оказалось, трамвай как раз подошел, я вскочила в него и приехала домой гораздо раньше Доры. А после обеда Гелла нечаянно чуть не выдала меня. Но так как все говорили только об экзаменах, то я могла это замазать.

Теперь, когда Дора сдала экзамены, она должна мне рассказать еще о многом по некоторым вопросам. Она мне это обещала. Перед экзаменами она всегда так уставала от зубрежки, но теперь с этим покончено, а я вообще не занимаюсь на каникулах. К чему же, на самом деле, каникулы! Г-жа Дункер, действительно, поставила мне только «удовлетворительно», это настоящая подлость; а с нею я должна еще учиться целых три года, тьфу. Я наверное знаю, что теперь уж никогда не буду стараться по французскому, потому что теперь у нее есть на меня зуб, а раз учительница имеет на кого-нибудь зуб, то никакое ученье не поможет. Г-жа М. была совсем другой. Сейчас я так долго смотрела на ее портрет, что у меня страшно режет глаза; но я еще должна написать: даже если кто ничего не знал раз или два, она этого не припоминала никогда, никогда, никогда—милая, божественная...

10 июля. Завтра мы едем в Ф.; я уже заранее радуюсь. Сегодня скука ужасная, так как Гелла уже уехала вчера в Берхтесгаден на шесть недель, и на обратном пути они заедут в Зальцбург; может быть тетя Дора

поедет со мной на два дня в Зальцбург, прежде чем Гелла уедет в Венгрию. Счастливая! К сожалению, в нынешнем году я не могу ехать в К... М..., так как мы останемся в Ф. до половины сентября. Я уже сегодня получила свои именинные подарки, так как они предназначены для путешествия: черная сумочка туристки с черным кожаным поясом и полдюжины траурных носовых платков с изящной черной каймой, принадлежности для выжигания и большой мешочек конфет на дорогу от Геллы. Без Геллы тяжело жить на свете. Нужно надеяться, что мы когда-нибудь выйдем замуж в один день; мама всегда говорила: «Самые лучшие девичьи дружбы порываются, когда одна выходит замуж». Вероятно, оттого, что другая досадует, если она еще не выходит. Как это будет со свадьбой г-жи М.? И знает ли она уже все? вероятно, — а если нет, то ее мама должна ей сказать заранее. Дора сказала мне вчера, что мама однажды сказала ей: «Девушка всегда представляет себе все в ложном свете, в действительности это бывает совсем иначе». Но у нас это не так, мы уже знаем все решительно, даже о том, что раздеваются до-гола; боже, какой вид при этом!

Двадцатого придет Освальд, но сначала он сделает поездку в Мюнхен.

12 июля. Здесь чудесно; горы и горы кругом, и мы будем подниматься на все вершины; боже, как я рада! Здесь невозможно вести дневник каждый день; это уже не дневник, а «недельник». Гелле я непременно должна писать через день. Мы живем в пансионе «Эдельвейс»; здесь около сорока лиц, по крайней мере мы столько насчитали за обедом. В передней вывешен список гостей, который я должна изучить внимательно. От путешествия я не имела никакого удовольствия, так как у Доры страшно

болела голова, и мы всю ночь ни о чем не могли говорить.

Половину ночи я простояла в коридоре. В одном местечке в Зальдбурге был страшный пожар; но его никто не тушил; должно быть, никто ничего не знал.

Пансион обставлен очень красиво, всюду ковры. В зале устроено пять или шесть уголков. Мы очень довольны. К обеду дают четыре блюда, к ужину — два. На каждом столе стоят цветы. Папа говорит, нужно еще посмотреть, как долго они будут стоять. На папе новый костюм туриста, который идет к нему восхитительно, он такой высокий и имеет аристократический вид. Мы привезли с собой легкие черные этаминовые платья и черные кружевные блузы, а также белые блузы и белые платья и светло-серые костюмы туристок. В этом папа совершенно прав: траур — внутри, а не снаружи. Но пока мы все-таки ходим в черном, только на случай большой жары мы взяли белые вещи.

Сегодня недалеко от дома, на холме, мы нарвали целый букет альпийских роз. Дора взяла с собой портрет мамы и поставила перед ним цветы. Я, к сожалению, своей забыла. Я очень бы хотела сделать горную прогулку на Вильдек или куда-нибудь еще. Рвать самой эдельвейсы было бы чудесно, но папа говорит, что это не очень полезно в нашем возрасте. Купанье здесь, говорят, всегда очень холодное, большей частью десять градусов, самое большее — двенадцать. Доктор Клейн сказал, что мы должны купаться только в теплой воде. Это будет не часто. Знакомства у нас здесь еще нет; но две девочки за вторым столом от нас, в боснийских блузах, мне очень нравятся. Может быть мы с ними познакомимся.

Одна вещь пока провалилась. Я хотела вечером расспросить Дору о многих важных вещах, но так как тетя Дора спит с нами в одной комнате, то это не удастся. И вот что еще глупо; в комнате папы есть великолепный балкон с видом на променаду, а наши комнаты выходят в сад. Вид очень красив, но папина комната была бы несравненно лучше, только она слишком мала для троих, в ней есть всего одна кровать и старомодная мебель. Такая мебель приводит меня в ужас; дама, хозяйка пансиона, называет это ампир!! Она, должно быть, никогда не видела ампирной обстановки.

15 июля. Вчера, на прогулке, Дора мне много рассказывала о тете Доре. Я, собственно, никогда не знала хорошенько, служит ли дядя Рихард в сумасшедшем доме, или сам сидит в нем; оказывается, сам сидит. Он страдает болезнью спинного мозга, впал в совершенное слабоумие, а порой у него бывают припадки бешенства. Когда он еще был на свободе, он раз принялся душить тетю Дору и потом унижал ее в другом отношении!!! Я не знаю хорошенько, каким образом, потому что у тети Доры никогда не было детей. Почему, собственно, все держали в тайне болезнь дяди Рихарда? Да, если подумать, то никто никогда не хотел говорить и о болезни мамы. Это утаивание, все равно, ни к чему; во-первых, тут-то как раз и начинаешь думать об этом, а во-вторых, все равно узнаешь правду. Под конец, тетя Дора так боялась дяди, что запирала все двери в свою комнату. Иметь сумасшедшего мужа, должно быть, ужасно. Папа сказал раз о Доре: «тетя Дора свела уже одного с ума своими фокусами и капризами». Это, конечно, было сказано в переносном смысле. Но я должна наблюдать, что, собственно, тетя делает такого, что может так раздражать

человека. Вероятнее всего, в этом отношении. Мне кажется, что у тети Альмы гораздо больше фокусов и капризов, а дядя Франц еще не сошел с ума. Дора говорит, дядя Рихард может еще прожить двадцать лет, и ей жаль тетю Дору, что она прикована к такому чудовищу. Как так прикована? Он, ведь, в сумасшедшем доме и не может ей ничего сделать. Дора ничего этого не знала, тетя рассказала ей это только после смерти мамы. Дора думает, что всего лучше вовсе не выходить замуж, если не безумно любишь своего мужа, да и то лишь по брачному контракту!!! Тогда возможность этого исключается. Я всегда думала, что брачный контракт всегда заключается из-за приданого и из-за денег. Что он имеет эту цель, я никогда не думала. Жена лесничего Майера, с которой мы познакомились летом, два года тому назад, вышла замуж только при этом условии. Я одного не понимаю; если в браке самое главное то, к чему стремятся все мужчины, то никто из них, собственно, не согласится на брачный контракт. Это, должно быть, не так, а может быть это бывает только у евреев, так как Майеры были евреи.

21 июля. Нет, этого я никогда бы не подумала, что Гелла в одном отношении права. Сегодня Аннелиза написала мне длинное письмо в восемь страниц. Еще тогда, когда Гелла должна была просидеть дома пять дней, она думала, что Аннелиза будет снова приставать. Но, очевидно, она не решалась. И вот теперь она пишет мне: «Моя единственная, моя любимая Рита, ты — единственный друг моей жизни; все девочки и все люди меня любят, где бы я ни была, и только ты, в гневе, от меня отвернулась. Что я тебе сделала?» Ну, положим, кое-что она мне сделала; могла бы выйти славная история, не

будь г-жи М., этого ангела в человеческом образе! Она пишет, что она так одинока и грустит; она со своей мамой живет в водолечебном заведении Грач, близ Мерана или Боцена, я уже позабыла, надо будет посмотреть, если я буду отвечать ей. Я дала Гелле честное слово, что никогда больше не помирюсь с «чистым ребенком». Но, в конце концов, ответ — это простая вежливость и вовсе не означает примирения, а тем более дружбы. Там, в Граче, нет ни одной молодой девушки, только дамы и старики, самому молодому тридцать два года. Брр... Охотно верю, что она страшно скучает. Написать я ей напишу, во всяком случае, но очень, очень холодно. В заключение она пишет: «Услышь мольбы несчастной, и пусть твое сердце не будет твердым, как железо, к той, которая тебя всегда искренно любила». Это, собственно, очень красиво, у Аннелизы всегда были лучшие сочинения. Г-жа М. часто хвалила ее за ее изысканный стиль, но впоследствии терпеть ее не могла. Она ей часто говорила, что нельзя быть такой аффектированной, иначе она разучится говорить из-за постоянной аффектации. Я не тотчас отвечу ей, а через несколько дней и, как уже сказано, очень холодно.

23 июля. Сегодня я познакомилась с двумя девочками, их зовут Ольга и Нелли, одной пятнадцать, другой тринадцать лет; я не знаю их фамилии, знаю только, что у них есть магазин кожаных изделий. У их мамы уже совсем седые волосы, а папа приедет только восьмого августа. Мы сговорились устроить совместную прогулку сегодня в четыре часа в Бреннфельден.

26 июля. Я приняла за правило писать каждый день перед обедом, так как после обеда мы все отправляемся в лес с нашими гамаками. Четвертого дня я написала

Аннелизе, чтобы она знала, что наделала. Гелле я еще ничего не писала, так как еще не знаю, что ответит Аннелиза. Гелла развлекается в Иннихене по-царски; но, к сожалению, она не написала мне, как именно; да и написала мне всего три странички, вместе с заключением; разумеется, и я написала ей не так много, как обычно.

27 июля. Доре Вейнеры не особенно понравились; она находит их страшно надутыми. В деревне не носят золотых браслетов и цепочек, а тем более девочки. Она, конечно, права, но мне обе эти девочки очень нравятся, особенно младшая, Ольга; Нелли важничает; они тоже ходят в лицей, но в Гидигский лицей; Ольга учится только во втором классе, а Нелли — в пятом. Дора говорит, что обе они не изобрели пороха. Но это вовсе не обязательно, это, по счастью, изобрел кто-то другой. Вчера во время прогулки было очень весело. Сегодня я одна пойду с ними. Папа говорит:

— Только не каждый день торчать вместе, а то под конец всегда выходит какая-нибудь история.

— Да, но только не с Вейнерами, этому я не поверю.

29 июля. Завтра день моего рождения. Что-то я получу? Кое-что я получила уже в Вене. А именно: три пары ажурных чулок от тети, очень изящных; нога в них имеет такой эlegantный вид. Но я должна быть с ними страшно бережлива и внимательна. Тетя сказала:

— Надеюсь, ты отучишься делать складки на чулках во время занятий.

Точно я, вообще, буду заниматься на каникулах.

ПОСЛЕДНЕЕ ПОЛУГОДИЕ

(от 14 до 14^{1/2} лет)

30 июля. Итак, слава богу, сегодня мой четырнадцатый (!!!) день рождения; Ольга думала, что мне шестнадцать лет, или, по меньшей мере, пятнадцать; но я сказала:

— За это покорно благодарю; выглядеть как шестнадцать лет мне очень приятно, но иметь шестнадцать лет мне бы не хотелось, тогда много ли останется молодости, самое большее два-три года.

Но такого странного чувства, как говорила Гелла, у меня действительно нет, только я очень рада, что никто, даже Дора, не может сказать, что я «дитя». Слово «дитя» я страшно ненавижу, разве только, когда мама говорила: «Ты мое милое дитя»,—но она говорила совсем в другом смысле. Мамино кольцо обрадовало меня больше всех подарков ко дню рождения; я буду его носить вечно. Когда я хотела заплакать, папа сказал так ласково:

— Не плакать, Гретель, в четырнадцатый (!!) день рождения нельзя плакать, это было бы славным началом взрослой жизни!

Кроме кольца, я получила еще от папы восхитительную нитку черного жемчуга на шею, которая мне удивительно идет, и при этом она такая холодная; затем «Иммензее» Теодора Шторма, от тети Доры черные ажурные чулки и длинные черные шелковые перчатки, а от Доры—темно-серый кожаный браслет для часов. Но я буду его носить только в Вене, в школу. Дедушка с бабушкой прислали, как всегда, фрукты, а от Освальда ничего не пришло. Не может быть, чтобы он забыл. Вероятно, он придет с опозданием. И еще от папы ящичек конфет, которые я всегда очень любила. За обедом тетя Дора специально заказала мое любимое мучное блюдо, и все говорили:

— Что это значит, в будничнйй день такое воскресное блюдо?

И тогда обнаружилось, что сегодня день моего рождения; обе Вейнер, которые уже знали об этом, сказали большинству гостей, и очень многие меня поздравляли.

Ольга и Нелли поздравили меня еще перед обедом и поднесли огромный букет из полевых цветов и другой—из садовых. После обеда мы все идем на Флагг, там чудно хорошо.

Вечером. Я должна еще приписать. Мы не могли отправиться на прогулку, так как поднялась ужасная гроза, между двумя и четырьмя часами. Но мы провели время чудесно. А теперь—еще событие. Когда я выходила из столовой, чтобы идти в..., вдруг раздается голос:

— Могу ли я вас поздравить, фрейлейн?

Я оборачиваюсь, и сзади меня стоит великан-студент, золотистый блондин, которого я заметила уже три дня тому назад.

— Благодарю вас, вы слишком любезны,—говорю я и хочу пройти мимо, потому что мне, действительно

нужно было идти. Но он сейчас же начинает разговор и говорит:

— Но четырнадцать лет, это ведь только шутка? Вам, вероятно, сегодня исполнилось шестнадцать?

— К сожалению, нет, и в то же время — слава богу, но в конце концов, каждому столько лет, на сколько он выглядит. Извините, я спешу в свою комнату, — быстро говорю я и спешу прочь, а не то!! Надеюсь, что он не догадался. Надо написать об этом Гелле, то-то она посмеется. Она прислала мне очаровательную коробочку с видом Берхтесгадена, наполненную моими любимыми конфетами с коньяком. В письме она жалуется на «краткость» моего последнего послания. Завтра надо поскорее написать ей длинное письмо. За ужином я прежде всего посмотрела, где сидит «Бальдур» — так зову я его за его чудесные белокурые волосы, и потому, что не знаю, как его имя. Он сидит вместе со старым господином и старой дамой и еще с барышней, у которой такие же волосы как у него; она никак не может быть его сестрой, так как слишком стара.

31 июля. Их фамилия — Шаррер-фон-Арнек, отец — горный советник в отставке. Барышня, на самом деле, оказалась его сестрой и учительницей в Брюнне. Я узнала все это от горничной. Но я была очень хитра, не хотела задать прямого вопроса и сказала:

— Кто это тот старый господин с белыми кудрями, который так похож на моего дедушку? (Я совсем не знаю моего дедушку, так как дед с папиной стороны умер уже двенадцать или пятнадцать лет тому назад, а отец мамы живет не в Вене, а в Берлине.)

Луиза говорит:

— Ах, фрейлейн, вы говорите о г-не горном советнике Ш.-фон-Ш., но ваш дедушка, наверное, не такой ворчун.

Я говорю:

— Вот как, разве он ворчун?

А она отвечает:

— Да еще какой; тут пужно летать на крыльях, не то беда!

Слово за слово, и она рассказывает мне все, что знает; барышне уже тридцать два года, ее зовут Гульдой, ее отец не позволяет ей выйти замуж, а молодой барин ушел из дому, так как отец его слишком изводил. Он учится в Праге и приезжает домой только на каникулы. Все это очень печально, а у них такой довольный вид, за исключением барышни. Да, у Вейнеров просто ужас. Ольге уже тринадцать лет, а Нелли даже пятнадцать, а их мама собирается еще... это значит, их мама в... Обе они возмущены, а Нелли сегодня сказала мне:

— Это скандал!—им так стыдно ходить вместе с мамой. Я еще ничего не заметила, но они говорят, что это уже давно видно.

— В октябре случится очень радостное событие!!—сказала Ольга.

Это, в самом деле, очень неприятно, и мне г-жа В. сразу же не понравилась. Я не могу понять, как можно вообще быть такой, когда уже так стара. Мне очень жаль обеих Вейнер. Впрочем, у Ш., должно быть, было в том же роде, так как Луиза сказала мне, что молодому барину двадцать один год, а барышне не тридцать два, а тридцать пять, в первый раз она ошиблась; значит она на четырнадцать лет старше, ужасно. Мне ее страшно жаль, что ее папа не позволяет ей выйти замуж, то-есть не позволил ей. Наш папа, конечно, никогда не запретит,

если одна из нас захочет выйти замуж. Я написала обо всем Гелле; ее мне страшно недостает, так как обе Вейнер мне, в сущности, совершенно чужды, а Доре я никогда не могла бы доверить своих тайн, хотя теперь мы в очень хороших отношениях. Завтра приезжает Освальд.

1 августа. Хорошо живется молодым людям. Они приезжают и уезжают, когда хотят и куда хотят. Сегодня пришла телеграмма от Освальда, что он не приедет до середины августа: «Кенигское озеро, чудесные прогулки по Вацману, письмо следует». Папа был молчалив, но, я думаю, что ему очень досадно. Вообще, теперь, после смерти бедной мамы, Освальд мог бы приехать домой. В прошлом году, после выпускных экзаменов, он так долго был в отъезде один, а в этом году опять. Так летать от одного удовольствия к другому, в самом деле, не годится, когда у человека три месяца тому назад умерла мать.

На второй день по приезде сюда, когда мы здесь еще никого не знали, я пошла рано утром, в половине девятого, одна на кладбище. Оно расположено на склоне горы, и там есть очень старые надгробные камни; некоторых надписей нельзя уже разобрать, так они стерлись; одна, 1798 года, еще с римскими цифрами. Там я села на маленькую скамью и подумала о бедной маме и обо всем печальном на свете и так страшно плакала, что должна была вытереть себе глаза, чтобы никто не заметил.

Сегодня, впрочем, я была ужасно раздосадована. Пришло письмо от тети Альмы, они тоже хотят приехать сюда, мы должны подыскать для них квартиру, не найдем ли чего подходящего—для тети Альмы это всегда значит дешевого,—но обязательно частную квартиру; да, разумеется, в пансионе для них было бы слишком дорого.

Надо надеяться, мы не найдем ничего подходящего; сегодня мы, действительно, ничего не нашли, так как не ходили далеко по случаю приближающейся грозы. И завтра, надо надеяться, не найдем. Это мое страстное желание; Марины, шпионки, мне вовсе не нужно. Слава богу, тетя Дора и Дора тоже решительно против, но папа сказал:

— Дети, это не годится, это все-таки тетя и, во всяком случае, надо поискать.

— Ну, хорошо, поискать — поищем; «искать» и «найти», — к счастью, разные вещи.

2 августа. Сегодня утром мы ходили искать квартиру, а так как Дора всегда гордится тем, что умеет находить, то она, действительно, откопала две комнаты с кухней, — правда, в крестьянском доме. Дачники, которые здесь жили, должны были внезапно уехать в Вену по случаю смерти бабушки, и потому крестьянка отдает помещение очень охотно. Дора сейчас же написала тете, написала также, что мы все очень рады видеть ее и всех, а это уж одно притворство. И я приписала P. S., где посылала всем привет и упомянула, что проезд безобразно дорог; может быть это их испугает. Из-за этой глупой беготни за квартирой, я ни вчера после обеда, ни сегодня утром не видела Вейнер и, конечно, также бога «Бальдура». А за обедом от нас не видно стола горного советника, так как они сидят в фонаре у окна; они приезжают сюда уже девять лет подряд.

Хотя я смертельно устала, я должна еще записать. После обеда мы и Вейнер были у Крейндельбауера, и тут к нам присоединился Зигфрид Ш., так как он знаком с Вейнерами, которые тоже приезжают сюда уже три года. Но он говорил, главным образом, с Дорой, и это

меня страшно сердило. Поэтому я просто ничего не говорила и шла сзади. А на обратном пути он подходит ко мне и говорит:

— Ну, фрейлейн Грета, вы всегда так погружены в себя? Ваши глаза этому противоречат.

Я сказала:

— Это зависит всецело от моего настроения... прежде всего, я никому не навязываюсь.

— Не могли бы вы обменяться с вашей мамой местом за столом?

— Во-первых, это не моя мама—мама умерла двадцать четвертого апреля,—а моя тетя, а во-вторых, почему вы говорите это мне, вы лучше скажите это моей сестре!

— О, вы ревнивы! Для этого нет никаких оснований. Не могу же я не разговаривать с вашей сестрой, когда я в обществе, ревновать вам нечего; для этого, правда, нет никаких причин.

Если бы я только знала, как мне переменить место, но я всегда сижу рядом с папой; и сразу я этого не сделаю ни за что; самое большее—на следующей неделе. Прощай, мой богатырь Зигфрид. Спи сладко, и пусть приснится тебе...

3 августа. Аннелиза мне написала:

«О, золотое существо, ты, значит, можешь простить мне грех моей юности? Мир сияет для меня вдвойне ярким светом, с тех пор как я получила твое письмо».

Я не знаю, так примирительно я вовсе не писала, только, что мне очень жаль, если она в Граче так одинока, и что случившегося нельзя изменить,—значит нужно похоронить его. Она еще поздравляет меня задним числом с днем рожденья (зимой мы обе записали дни рожденья друг друга) и посылает мне засушенную большую не-

забудку. Пока она не была засушена, она откладывала ответ. Я теперь не знаю, что мне делать. Могучий Зигфрид сумел бы дать мне совет, но не могу же я рассказать ему всю историю, иначе мне пришлось бы сказать, почему мы поссорились, а это было бы ужасно. Поэтому, прежде чем ответить, я напишу Гелле. Но я должна бы сделать это сегодня, так как, пока придет ответ, это длится взад и вперед целых три дня, а пока Аннелиза получит затем письмо — еще один или два дня, всего значит, по крайней мере, пять дней. Дождь льет ручьями и очень скучно, так как папа не позволяет сидеть нам одним в зале; я хотела бы знать, почему. Папа обычно всегда очень мил, несколько не похож на других отцов, но в этом отношении он отвратителен. После обеда я лягу на кушетку и буду читать «Иммензее», так как я все еще не добралась до него.

6 августа. Ну, вот, сегодня приехал весь табор; Марина в сером, точно пыльном, костюме, который ей ужасно не идет, Эрвин и Фердинанд; Фердинанд учится в Нейшtedтской Военной Академии, на Артиллерийских Курсах в Вене, он еще самый шикарный из всех. Дядя в отвратительном настроении, бранился по поводу дороги, ручного багажа; мне кажется, что у них было штук восемь или десять вещей,—по крайней мере, я должна была тащить тяжелый плед, а Дора сумку, о которой она говорила, что в ней все фамильные сплетни за целых десять лет. А тетя Альма имела уморительный вид в дорожном платье, подобранном так высоко, что при ходьбе видны коричневые чулки, и шляпа, точно птичье пугало. Когда я вспоминаю, как изящно всегда одевалась наша мама — правда, она была, по крайней мере, на двадцать лет моложе тети Альмы,—но все-таки, проживи мама хоть до восьмидесяти

лет, она не могла бы так выглядеть. Слава богу, что наше шествие не встретилось ни с кем и ни с кем-нибудь в частности. К обеду все, в виде исключения, явились в пансион. Составили рядом два стола, я воспользовалась этим, чтобы переменить место; я предложила тете Альме место рядом с папой и села рядом с миленькой Мариной, как раз напротив... Впрочем, за столом Марина была недурна, белая блуза очень идет к ней, и потом у нее чудный цвет лица, белый, белый и только на щеках немножко розовый. Но это ее единственная красота. Прическа отвратительная, совершенно ровный пробор, как у Гретхен. Я уже давно не ношу такой... хотя все говорили, что она очень шла ко мне. Но локоны идут ко мне гораздо больше. Он все время смотрел в нашу сторону, и тетя Альма сказала:

— Грета буквально расцветает, надо надеяться, что здесь дело не в кавалерах.

— О нет,—говорит папа,—деревенский воздух полезен ей, а когда дети развлекаются, я не отравляю им каждую невинную радость.

О, мой чудный папа, я должна была удержаться, чтобы тут же не поцеловать его! Все замолкли, и каждый так внимательно глядел в свою тарелку, точно никогда не ел пудинга. Только Фердинанд подмигнул Марине, но она, конечно, не заметила ничего. К счастью, все скоро съели свои порции, взяли по второй, и разговор возобновился. Когда мы шли в свои комнаты, я постучала в дверь папы, дала ему обещанный поцелуй и сказала:

— Папа, ты бесценный отец.

— Ну, будь и ты, сделай милость, бесценной дочерью и живи в мире с Мариной и другими.

Я сказала:

— Боже, я ненавижу ее, эту ханжу.

— Ну,—говорит папа,—к сожалению, нам нельзя выбирать своих родителей и своих родственников.

— Других родителей я себе бы и не выбрала, такого папы и такой мамы мы не могли бы нигде найти.

Тут папа поднял меня на воздух, как будто бы я была еще маленькой девочкой, и сказал:

— Ах, ты, мое сокровище, моя крошка,—и мы с ним горячо поцеловались. Папу я, вправду, люблю больше всех на свете; Геллу я люблю совсем по-другому, ведь это моя подруга, а Дора моя сестра; и тетю Дору я тоже люблю, и Освальда, если только он в конце концов появится на горизонте.

8 августа. Я в бешенстве. Сегодня получаю от Геллы открытку, на которой написана всего одна фраза: «Делай то, от чего не можешь удержаться. Мой привет. Твоя М.». На открытках мы пишем тайным алфавитом, которого никто другой не может прочесть, так что Г=М. Счастье, что никто этого не может прочесть. Разумеется, я тотчас же написала Аннелизе и притом очень любезное письмо, а Гелле послала карточку, на которой написала нашим шифром одну строчку: «Уже сделано. Мой привет. В.» Даже не твоя В. Любопытно, что она сделает. Богатырь Зигфрид сегодня лежал с нами на лугу, на сене, и говорил великолепно. С одним я только не согласна, что все отцы, без исключения, тираны. Я сказала:

— Мой папа наверно нет.

Но он ответил:

— Еще нет. Вы когда-нибудь еще узнаете. Но у кого есть характер, тот не позволит угнетать себя. Я просто порвал со своим стариком и ушел из дому; высшие технические школы имеются не в одном Брюнне. Вы говорите:

не все отцы, — посмотрите на Гульду; всякий раз, как она находила себе партию, старик все расстраивал; никому не понравится такая опека.

— Какая такая опека? — спрашиваю я, но здесь как раз все встали и пошли. Ну, значит, вероятно, до завтра; бедный мученик.

9 августа. Боже, это ужасно, если правда все то, что пишет Гелла о заражении; сыпь по всему телу, это самое ужасное, что только может быть. Я должна сейчас же разорвать письмо; так как она не могла исписать целых восьми страниц нашим шифром, то я должна уничтожить его, чтобы оно не попало кому-нибудь в руки. Это особенно необходимо теперь, когда с нами Марина, когда нельзя быть уверенной. Но я нашла исход. Я спишу себе письмо, хотя бы мне понадобилось для этого несколько дней. Вот что она пишет:

«Горячо любимая Рита, что ты подумала о моей вчерашней открытке? Если она тебя раздосадовала, то не сердись на меня. Ты можешь вести знакомство и переписываться, с кем хочешь, но последствия ты должна взять на себя. Мой папа всегда говорит: «Рыжий, красный — человек опасный». А я стою на том, что у «невинного ребенка» волосы рыжие, как у лисы. Итак, поступай, как знаешь. Но сейчас я хочу сообщить тебе нечто гораздо более важное. Но обещай мне сначала, что ты это письмо разорвешь немедленно по прочтении, иначе лучше отошли обратно, не читая.

«Представь себе, здесь, в Б., живет одна молодая дама со своей мамой и кузиной, которая изучает медицину. Они польки, которыми я всегда увлекалась. Молодая дама разведенная, так как она заразилась от своего мужа в брачную ночь. Ты, я думаю, знаешь, что значит

заразиться, но, в действительности, это совсем другое, чем мы думали. У нее от этого по всему телу и на лице сделалась ужасная сыпь и, вероятно, выпадут все волосы; это чудовищно. Студентка, ее кузина, которая, говорят, очень бедна, живет здесь, чтобы ухаживать за нею. Об этом рассказывала мне недавно наша Роза, которая знает все от горничной той виллы, где живут эти дамы. С Лиззи, как ты сама хорошо знаешь, нельзя говорить на такие темы, и я больше ничего не узнала; только недавно, когда я шла за открытками, я встретила этих трех дам. Молодая обвила себе голову и лицо густой вуалью, так что ничего не было видно. Они сидели потом на скамеечке в своем палисаднике, и на обратном пути, проходя мимо, я поклонилась им. Они все три очень ласково поблагодарили. После обеда я должна была лечь, так как мне было очень нехорошо, вследствие...!! И вдруг я слышу разговор, как раз перед моими окнами, на веранде, которая тянется вокруг всего дома. Здесь раньше всего бывает тень, и все садятся сюда. Я сейчас же узнала мягкий голос польской студентки и слышу, как она говорит бургомистерше из И.:

— Ах, моя бедная кузина ужасно попалась. — Она говорила с польским акцентом.

— Это бывает оттого, что молодых девушек продают, как товар, не спрашивая их и не объясняя, в чем дело.

«Я сейчас же оделась и подсела поближе к окошку, за занавеской, и слушаю. Бургомистерша говорит:

— Да, это ужасно, все, что приходится переживать, когда выйдешь замуж. Мой муж не такой, но...

«Далее, я, к сожалению, не поняла, что она рассказывала. Этот разговор был в четверг. Но это еще не все. Я сейчас же подумала, хорошо было бы поговорить с нею

как-нибудь; она говорила и о просвещении, и хотя мы уже очень просвещены, но все-таки она, как студентка медицины, должна знать многое такое, чего мы не знаем. Кое-что мы можем еще узнать. И, так как она сказала, что нельзя позволять девушкам слепо бросаться в замужество, то она должна что-нибудь сказать мне, если расспросить ее осторожно. Одного слова, которое она и бургомистерша употребили два раза, а именно слова: сексуальный—я не знаю, и ты, милая Рита, наверное, тоже не знаешь. Она говорила, что-то о сексуальных отношениях; когда говорят просто об отношениях, то мы уже знаем, что это значит, но что такое сексуальный—вот вопрос. Это должно иметь особый смысл, раз они употребляли его вместе с отношениями. Теперь, слушай; в субботу была вечеринка, входит эта девица, как всегда, и я кладу на рояль свои Альпийские песни, кто-то берет их в руки, перелистывает и говорит:

— Кому они принадлежат, тот должен петь.

«Сначала я не хочу этого, выхожу из комнаты, но потом возвращаюсь и говорю:

— Я ищу свои ноты, я только что их тут оставила.— Тут поднимается страшный шум, и все говорят:

— Кому они принадлежат, — тот должен петь.

«Ну, я им говорю:

— Пожалуйста, я спою, но я должна попросить фрейлейн К. мне аккомпанировать. Мужчины слишком сильно барабанят для моего голоса.

«Общий смех. И я добилась, чего хотела. Нас представили друг другу, и я подумала: этого знакомства я уже не упущу. В воскресенье я встала необычно рано, в половине седьмого, так как фрейлейн может гулять только

по утрам, а целый день проводит у своей кузины. Она сидит обыкновенно у источника Луизы, и я иду туда же с книгой; когда она подходит, я вскакиваю, здороваюсь с ней и говорю:

— Простите, фрейлейн, не заняла ли я вашу скамейку.

— О, нет, — говорит она, — как, вы учитесь по воскресеньям?

— О, нет, я только читаю, — ответила я и быстро засунула книгу под себя, так как второпях я не знала хорошенько, что взяла с собой. И, представь себе, это было мое счастье. Она под села ко мне и говорит:

— Что это вы читаете такое, что прячете так осторожно. Конечно, что-нибудь такое, о чем не должна знать мама.

— О, нет, — говорю я, — таких книг мы не берем с собой в деревню.

— Значит в городе вы иногда этим лакомитесь?

— Боже мой, нужно же когда-нибудь узнать правду о жизни; сказать — тебе никто не скажет, — вот и приходится смотреть, не найдешь ли иногда чего-нибудь в книге.

— В словаре, конечно?

— О, нет, там не всегда найдешь правду.

«Она принялась страшно смеяться и сказала:

— Что это за правду?

— Ну, это легко себе представить; вы же знаете, что я хочу сказать.

«Со студенткой-медичкой можно быть откровенной, и она ничуть не ужасалась и не возмущалась, а сказала:

— Да, да. Повсюду та же борьба.

«И тут я употребила твое любимое слово и говорю:

— Какая такая борьба? Я хотела бы только знать одну вещь — о заражении.

«Она вся покраснела и говорит:

— Кто это вам сказал? Мне кажется, моя бедная кузина здесь у всех на языке. Знаете ли, я не могу вам этого сказать.

«Тут я говорю:

— Но кто же тогда? Вы ведь изучаете медицину, видите это и говорите об этом каждый день.

— Нет, милое дитя (это привело меня в бешенство, ты можешь себе представить), для этого вы еще слишком молоды.

«Что ты на это скажешь, мы слишком молоды в четырнадцать с половиной лет—это просто смешно. Вероятно, она не очень далеко ушла в науках и не хочет в этом признаться. Я встала и говорю:

— Я не хочу больше мешать вам, фрейлейн, — поклонилась и ухожу; но про себя подумала: пропади она со всей своей медициной; хорошая будет из нее докторша!

«Итак, что ты на это скажешь? Нам придется довольствоваться словарем, и многое там, конечно, верно, а главное мы уже, к счастью, знаем, кроме слова сексуальный. В этом году зимой у вас будет легче проникать в книжный шкаф, чем прежде. Глупой гусыне я уже больше не кланяюсь.

«А из-за «невинного ребенка» я решительно не желаю, дорогая Рита, оказывать на тебя давление и никогда не буду сердиться на тебя за то, что ты предпочитаешь мне недостойную!!!

«Пол-миллиона поцелуев посылает тебе, неверная, не-
смотря ни на что твоя

неизменно верная подруга Г.

«P. S. Это письмо я пишу четыре дня, разорви его безусловно!!!»

Теперь, когда я списала это письмо, я, собственно, не понимаю, почему Гелла требует, чтобы я разорвала его. Я не нахожу его таким опасным. Одного только я не могу сделать для Геллы, это рыться в словаре. Мне кажется, у меня было бы всегда такое чувство, что мама вдруг стоит сзади нас. Нет, этого я абсолютно не могу.

13 августа. Благодаря глупому списыванию, я забросила свое дело, хотя оно гораздо важнее. В прошлую среду была большая поездка на Иннерланд, на тележках, организованная местным ферейном. Сначала Дора не хотела ехать, но папа сказал, что если это доставит нам удовольствие, то он охотно поедет с нами, а мама только радовалась бы, если бы видела, что мы снова пользуемся удовольствиями. За два дня до поездки и Дора, наконец, решилась ехать с нами. Я тотчас догадалась, почему; она сначала думала, что все места уже распределены, и нам скажут: «к сожалению, все уже расписано и занято». Но, к счастью, она очень ошиблась. Секретарь, напротив, сказал ей:

— Очень рад; пожалуйста, сколько лиц мне отметить?

И мы сказали:

— Семь, а именно: папа, Дора, я, тетя Альма (к сожалению), Марина и двое мальчишек (тоже, к сожалению).

— Для этого потребуется лишняя телега, сказал секретарь, — и мы думали, что поедем своим семейством. Но этого не случилось: рядом с Дорой сидел господин, которого я уже видела несколько раз, и страшно за ней ухаживал, затем сидели два незнакомых господина, г-жа Банг, ее две дочери и сын, который немного бледен; напротив — богатырь Зигфрид, барышня, которая готовится в артистки, обе Вейнери и их мама (несмотря на...!!!), далее, я, затем Марина, папа, тетя Альма и два мальчика — визави. Кто

сидел на второй и третьей телегах, я уж не помню. В шесть часов утра мы собрались у школы, так как учитель взялся быть проводником. Я совсем не знала, что у него есть две дочери и сын, который в этом году сдал на аттестат зрелости. Сначала все представились, мужчины выпили по рюмочке, также и некоторые дамы; но я не пила, так как ликер страшно обжигает горло, и потому все, по крайней мере, девушки и дамы, гримасничают, когда пьют; поэтому я никогда не пью ликеров. Начало прогулки было среднее, так как было очень холодно и ветрено. У большинства были совершенно красные носы и синие губы. Я постоянно кусала себе губы, чтобы они оставались красными, так как белые или синеватые губы искажают страшно лицо; это я узнала по Доре в этом году, зимою, на катке. Папа поехал только ради нас, а тетя Дора оставалась дома из-за тети Альмы; Марина сделала себе локоны, вид у нее пресмешной. Дора, впрочем, умеет с ней уживаться, чего про себя я утверждать не могу. Только когда мы слезали, я заметила, что рядом с ученицей драматической школы сидела и сестра Зигфрида, фрейлейн Гульда. Она очень мила, и, должно быть, в незапамятные годы была очень красива, у нее такие кроткие карие глаза и волосы как у брата; но у того чудные голубые глаза, которые становятся совершенно черными, когда он сердится,—например, когда он рассказывал мне о своем отце. Я могла бы дрожать перед его гневом. Я немногим выше его плеча, такой он большой. Папа называет его рыжей глистой, но в этом он, поистине, несправедлив к нему. Он очень широкий, но такой стройный.

В Унтертойфене мы позавтракали привезенной с собой провизией; это заняло приблизительно полчаса, затем

учитель страшно стал торопить с выступлением, так как нам идти еще часа четыре. Наши мальчики присоединились к другим мальчикам, а мы, пятеро девочек — нас двое, двое Вейнер и Марина — сначала шли вместе. Тетя Альма шла с пасторшей из Гильдесгейма, или не знаю откуда, и с женой учителя.

Сначала было очень скучно, так что я уже раскаялась, что так упрашивала папу принять участие в прогулке. Приблизительно через час или через два появляются сын учителя и три веселых молодца и идут с нами. Тут стало так весело, что от смеха мы не могли идти, и старшие постоянно должны были подгонять нас. Марина была очень развязна, я никогда бы не подумала, что она могла быть такой бойкой. Одна дочка учителя упала, и кто-то вытащил ее из ручья, куда она скатилась от смеха.

Как мы пришли на Иннерланд, я совсем не помню, так весело нам было. Тут уж был заказан обед, все безумно проголодались. Мы смеялись беспрестанно, так как мы сидели в том порядке, как шли дорогой, хотя тетя Альма сперва этого не хотела. Но ей пришлось подчиниться.

Я была очень рада, что богатырь Зигфрид видел, как можно развлекаться и без него. Он все время лип к театральной ученице или, может быть, она к нему — этого я не знаю; или, по крайней мере, тогда я этого еще не знала!

Так как все мы сидели по разным местам, то каждый должен был сам платить, а папа сказал на следующий день, что мы промотали уйму денег; но это было не в гостинице, а после, когда мы пошли покупать сувениры. Мне кажется, что Дора дала Марине три кроны, чтобы и она могла купить какую-нибудь вещичку. Но Дора в этом никогда не признается. Вообще, мне ее характер все больше

и больше нравится; в этом она очень напоминает маму. Все купленные вещи были положены в два или три рюкзака и разыграны в лотерее при возвращении в Унтертойфен. Я, должно быть, истратила, по крайней мере, семь крон, так как папа дал каждой из нас утром по пяти крон, и потом у меня было еще много монет из августовских карманных денег, а теперь у меня всего сорок геллеров.

После обеда и покупок мы лежали в лесу или гуляли парами. Когда я лежала и собиралась заснуть, вдруг кто-то подходит ко мне сзади и, пока я поднимаюсь, этот кто-то закрывает мне руками глаза и говорит:

— Горный дух.

Я тотчас узнала его руки и говорю:

— Богатырь Зигфрид!

Он страшно смеется, подсаживается ко мне и говорит:

— Вы сегодня так веселились, что у вас не нашлось и взгляда для других.

— О, напротив (это я выучила у Доры), я никому не навязываюсь и никому не бросаюсь на шею.

Тут он хочет взять меня за талию (и, вероятно, поцеловать, наверное, так), но я быстро вскакиваю и зову Дору, то-есть Теа, так как мы условились, что перед мужчинами будем называть друг дружку только Теа и Рита. Папа говорит, правда, что это глупости, которые совсем уж не идут к Доре (но ко мне, конечно, идут!), но мы остались при нашем соглашении. Он зажимает мне рот рукой и говорит:

— Не зовите.

Но тем временем уже подходят Дора и господин в пенсне, юрист из окружного суда в Иннсбруке, Мария и один юноша. Я спрашиваю:

— Что слышно, когда полдник?

— Она уже снова проголодалась, подумайте, — сказали все и стали страшно смеяться. А Дора имела очень счастливый вид. Она приколола букет эдельвейсов, которого у нее раньше не было; вечером она сказала мне, что получила его от г-на П. Он, если возможно, еще выше, чем богатырь Зигфрид, так как Дора несколько выше меня, а доходит ему только до края уха.

В три часа последняя партия поднялась на вышку, мы побывали там уже раньше. Вид был чудесный. Но красивым видом и, вообще, красивой местностью я лучше люблюсь одна, то-есть с папой и немногими окружающими; когда так много людей, то ничего не получаешь, каждый буквально отрывает себе кусочек. Среди красивой природы или на кладбище нужно быть одной. Красивый вид настраивает по большей части на грустный лад, и тогда уже невозможно смеяться непосредственно перед тем и сейчас же после того. Если бы я была одна на Иннерланде, то я непременно чувствовала бы меланхолию, так чудно хорошо там.

В четыре часа мы спустились, учитель думал, что спуск займет, самое большее, два с половиной часа, но мы шли более трех. Все очень устали, и у многих болели ноги, например, у тети Альмы. Мы сразу же сказали, что для тети это ни к чему; она должна была идти с нами, чтобы ничего не случилось с Мариной, а Марина все-таки очень весело провела время с г-ном Фуртнером, который изучает горное дело, как и Освальд, только не в Леобене, а в Германии. Девушку по-настоящему можно узнать только тогда, когда она беседует с мужчиной или при известных разговорах; но последнее, разумеется, с Мариной немыслимо после того опыта, который мы имели.

Но, во всяком случае, она милее, чем это кажется на первый взгляд. На обратном пути было страшно мило.

Возвращаясь из Унтертойфена, мы совсем иначе разместились, чем когда ехали туда.

Вместо Вейнеров в нашем экипаже сидело трое ребят из Мюнхена, ужасно милых, и мы пели все песни, какие только знали; особенно удачно вышли «С Дахштейнских высот, где орел лишь живет» и «Форель», и «Там, где моя милая»; нам подпевали седоки двух экипажей. Потом пелись некоторые альпийские песни с переливами, от которых горы дрожали. Несколько мужчин из третьего экипажа было на-веселе, и богатырь Зигфрид был в их числе. У тети Альмы страшно болела голова; вообще очень глупо было ей ехать с нами; а мы ведь еще не знали того, что за всем этим последовало. Перед каждым домом, где высаживали какую-нибудь барышню, исполняли серенаду. А на следующий день вечером должна была состояться большая лотерея-томбола из купленных сувениров, но на нее нас уже не пустили.

14 августа. Ужасно нудно на душе, я не знаю, за что приняться, поэтому пишу дневник. Впрочем, я еще не записала скандала. На другой день днем является тетя Альма, как раз в ту минуту, когда мы собирались уходить, и говорит папе:

— Эрнест, прошу тебя на одно слово.

Ну-с, это «одно слово» тети Альмы нам хорошо известно, по-немецки это значит: «я вам закачу сцену». Так вот она начинает:

— Эрнест, ты знаешь, что я никогда не была сторонницей таких совместных поездок, потому что ничего путевого из них не выходит. Но ради детей, особенно ради твоих осиротевших детей, я решилась тоже поехать. (Никто ее не просил; из-за нее тете Доре пришлось остаться дома). Знаешь ли ты, с кем мы очутились в одной

компаний? Этот молодой нахал, за которым так бегают Гретель (это низость! Я хотела бы знать, когда я за ним бегала? Уж не я ли его схватила в лесу за талию, а в тот раз, в день моего рожденья, разве я начала?), и молоденькая ученица театральной школы полночи после поездки домой не возвращались. Бог их знает, где они шатались. Чище они от этого не стали. (Ну, конечно, где же им было умыться). Горный советник здорово отчитал повесу, но маменька этой актрисы, разумеется, защищает девушку. Если бы я думала, что моя Марина способна на что-нибудь подобное, я бы этого не пережила.

Наконец, папе удастся вставить слово.

— Ну хорошо, милая Альма, при чем же тут мои дети? Насколько мне известно, эти двое вовсе не были в одном экипаже с нами — не так ли, дети?

Я была рада, что папа обратился к нам, и сказала:

— Зигфрид Ш. и ученица театральной школы ехали в четвертом экипаже, я видела, как они в него сели; а мне было все равно, где он едет и с кем он едет. (Это в сущности неправда, но я это сказала ради тетки).

— Такой разговор и такой тон по отношению к родному отцу!

Не успела она это сказать, как папа рассвирипел, да так, как я никогда не видала.

— Милая Альма, я тебя попрошу не вмешиваться в мой метод воспитания, также как я никогда ни словом в твои дела не мешаюсь.

Папа сказал это так тихо и спокойно, но при этом он весь побелел от бешенства, а Дора потом сказала мне, что и я тоже вся побелела, разумеется, тоже от бешенства. А тетя Альма говорит еще:

— Я не хочу каркать, но будущее покажет, кто был прав. Прощайте.

Как только она вышла, мы с Дорой бросились к папе и говорим ему:

— Папа, пожалуйста, не сердись так, оно совсем того не стоит.

Тут папа был ужасно мил и ласков с нами и сказал:

— Я знаю, что могу на вас положиться, ведь вы дети моей Берты.

Тут я не вытерпела и сказала:

— Нет, папа, я, действительно, кокетничала с Зигфридом, и в лесу он меня обнял за талию; но клянусь тебе, что целовать себя я не позволила. И если тебе это не нравится, то я клянусь тебе не говорить с ним больше ни слова. А папа сказал:

— Да, да, Гретель, тебе еще следует повременить с такими вещами и если этот «рыжекудрый» жулик с тобой любезничает, то он потом сам может оказаться в смешном положении, а ведь моей девочке этого не хочется, не так ли, чародеечка?

Тогда я обняла папу и поклялась ему моим честным словом, что не скажу больше ни одного слова с Зигфридом. Дело в том, что меня колоссально злит мысль, что он может оказаться в смешном положении; чего доброго, еще перед этой ученицей, которая полночи с ним гуляет; этакое бесстыдство.

После этого мы были так взволнованы, что не пошли гулять, а на томболу и подавно. Мне только очень жаль моих вещей на семь крон. Надеюсь, что он ничего из них не выиграл.

15 августа. Всего только несколько слов. Рано утром, когда я шла к завтраку, в коридоре меня встретил З. и говорит:

— С добрым утром, фрейлейн Гретхен. Почему вы не были давеча на лотерее? Разве вы ничего на нее не пожертвовали?

— О, да, у меня было куплено на семь крон вещей для нее, но ведь общество может вам иногда не нравиться.

— Почему же вдруг? Ведь на ней были все участники поездки.

— Ну, да, именно потому,—говорю я и прохожу мимо.

Ловко я его отделала; ведь он должен был понять. Я должна согласиться с папой, что некрасиво жаловаться посторонним людям на своих родителей, как он это всегда делает. Я бы не могла никому ничего сказать против моих родителей, хотя я иногда и злюсь до бешенства; о маме уж потому одному не могла бы, что она умерла. Но и о папе тоже; лучше уж я проглочу даже величайшую несправедливость. В тот раз, когда вышла неприятность с тетей Альмой из-за Марины, я действительно не была виновата; а как он меня выбранил, да еще при тете Альме; никогда не забуду. И тем не менее, никому чужому, с кем я только что познакомилась, я никогда не пожалуюсь ни на кого из членов нашей семьи; даже на Дору, с которой я прежде совсем не ладила, я даже Гелле особенно не жаловалась; разве только говорила, что она, вправду, такая была; теперь это с ней очень редко бывает.

19 августа. Отвратительно нудно; я не выношу слова «отвратительно», но это единственное подходящее к случаю выражение. Слава богу, нынче вечером, наконец, приезжает Освальд. З. уже несколько раз делал попытки сближения, которые я игнорировала. Пусть остается при своей актрисе, которой можно полночи гулять с ним. Впрочем, мне очень интересно было бы знать, где они были. Ночью, это совершенно неслыханно!!! Дора

говорит, что она с самого начала почувствовала антипатию к З., потому что у него...—нет, это ложь—потные руки! Это абсолютно неверно, напротив, у него восхитительно прохладные руки; мне ли не знать этого лучше Доры. Но я уже раз навсегда знаю, что если кто за мной ухаживает, то он Доре антипатичен—конечно. Да, кстати: в прошлое воскресенье Аннелиза написала мне прелестное письмо. Необходимо ей ответить сегодня же.

22 августа. Освальд—прелесть как мил. Он не забыл моего дня рождения, но он говорит, что у него как раз в то время не было ни копыя—это, по-студенчески, значит, что у него денег не было, и кроме того он не нашел ничего подходящего, но как только мы вернемся в Вену, он загладит свою вину. Я только не знаю, чего мне пожелать. Пока что, Освальд пробудет с нами до отъезда в Вену и за это время мы совершим несколько поездок одни. Право, это лучше всего. С Вейнерами бываю реже, потому что они тоже злились на совместной прогулке. Нелли находит Освальда страшно шикарным, а потому сегодня два раза подошла к нашему столу: раз по поводу книги Розеггера, которую мы ей одолжили, а в другой раз по поводу прогулки.

24 августа. В сущности смешно, так радоваться чемунибудь подобному со стороны брата; но если он это находит, то оно наверное так и есть. Освальд мне говорит сегодня:

— Послушай, девчурка, ты становишься такой миленькой, что ущипнуть хочется. Ты здорово выправляешься. Хотя я и сказала:

— Ну, щипать меня я никому не посоветую,—а он сказал:

— И я тоже,—но все-таки это меня ужасно порадовало, хоть он мне всего только брат. Марину он находит

препротивной, а Дора ему, как мужчине, кажется слишком бесцветной; тут он, пожалуй, прав. Зато я и не понимаю д-ра П., — он всегда разговаривает с Дорой. Со мною он и десяти слов еще не сказал. Ну, я на это и не обижаюсь.

27 августа. Мы были вчера на Матчеркогеле, где был чудесный вид. Оба мальчика были с нами, они нарочно просили папу об этом, но тетя Альма и Марина, разумеется, не были. Освальд называет тетю Альму «булавочной подушкой без округлости», но, конечно, только тогда, когда папы нет при этом; все-таки она его сестра. Вейнерам хотелось отправиться с нами, но я сказала, что мой брат пробудет здесь всего несколько дней и что это прощальная прогулка *en famille*. Они немножко обиделись, но меня страшно разозлило, что они все время нарочно при мне рассказывали, что З. против воли своего папы обручился или еще обручится со своей актрисой. Мне это решительно безразлично. Но, говоря об этом, они все время между собою переглядывались, особенно Ольга, которая, право же, не слишком-то остроумна. Мне теперь по временам бывает так грустно, что я даже понять не могу, как это я так веселилась на общем пикнике. Я так часто думаю о бедной маме и часто ношу черное. Оно больше всего подходит к моему настроению.

30 августа. Ш..., повидимому, завтра уезжают. По крайней мере, третьего дня старик сказал папе:

— Слава богу, скоро опять вернемся в свои четыре стены и ко всем удобствам.

Бабушка Геллы всегда говорит то же самое перед отъездом с дачи. А сегодня в коридоре стояли две большие дорожные корзины, недалеко от комнаты горного советника. Освальд находит старика очаровательным. Дело

вкуса. С З. он, мне кажется, ни разу не разговаривал, хотя он тоже германский националист, только другого союза. Освальд член Зюдмарки, а З. раз жестоко ругал Зюдмарку, когда я сказала ему, что Освальд состоит в ней.

31 августа. Сегодня он взаправду уехал, то-есть все семейство. Они распрощались с нами вчера после ужина, а сегодня с девяти-часовым—в Иннсбрук. Так вот—у него вовсе не потные руки, я нарочно обратила внимание; это чистейшая выдумка со стороны Доры. Они с Освальдом приветствовали друг друга восклицаниями: «Heil» *). Это чудесное приветствие, я непременно введу его между собою и Геллой.

2 сентября. Сегодня Вейнеры тоже уехали, потому что состояние их мамы уж очень заметно. При прощании Ольга говорила, что ей ужасно неловко ехать со своей мамой и что она постарается держаться по возможности поодаль, чтобы не сразу было видно, что они едут вместе.

4 сентября. Это совершенно неслыханная вещь. З. вернулся, конечно, один; все возмущены, потому что он вернулся исключительно ради фрейлейн А., ученицы театральной школы. Но Освальд страшно за него заступился, когда нынче фрау Лунда сказала тете Доре:

— Это сущий скандал, и его родители не должны были бы этого допускать, раз уже ее мать не понимает приличий.

Тут-то Освальд и сказал:

*) Непереводимое слово, пожелание благополучия, успеха, удачи. Примечание переводчика.

— Виноват, сударыня, но молодой Ш.—не школьник, на помочах у родителей; подобная опека была бы недостойна немца-мужчины.

В сущности, я рада была, что фрау Л. досталось; она всегда впивается в вас глазами и безумно любопытна.

А слово «опека» чисто немецкое слово, это и З. рассказал, говоря о своей сестре и почему она замуж не вышла. Фрау Л. взбесилась и сказала, обращаясь к тете Доре:

— Ну, разумеется, молодые люди все заодно, покуда сами не станут отцами; тогда они меняют свой взгляд на вещи.

8 сентября. Слава тебе, господи, после завтра и мы уезжаем. В сущности здесь было довольно скучно, и я ни в коем случае не могу вторить Гелле в ее прошлогоднем хвалебном гимне; правда, они жили не в пансионе «Эдельвейс», а в отеле «Император Австрийский». А это очень много значит, где жить. Кстати, я сейчас вспомнила. Молодая дама, у которой была сыпь, потому что она заразилась, вероятно, все-же не разведена, как писала Гелла, потому что ее муж приезжал к ней в гости. Он артист Мюнхенского Королевского Театра. Значит, артисты, повидимому, тоже заражены; а Гелла всегда утверждала, что только офицеры. По правде говоря, она в этом пункте немного пересаливает.

14 сентября. Мы уже с одиннадцатого числа в Вене, но я абсолютно не могла писать, хотя поводов к этому весьма достаточно. Ибо первый, кого я встретила, когда одиннадцатого ходила за какао, которое Рэзи забыла захватить с собою, был старший лейтенант Р., именно Победитель-Виктор!! Он, разумеется, тотчас же узнал меня, был страшно любезен и проводил меня немного. Так,

между прочим, он спросил о Доре, но я ясно увидела, что он ее больше не любит. Кстати, прелестно то, что он не знал, что Дора нынче сдала на аттестат зрелости и больше в лицей не ходит. О том, что она непременно хочет продолжать учиться, я ему не сказала, потому что это еще далеко не решено.

16 сентября. Вчера приехала Гелла, я счастлива. Я приветствовала ее словом «Heil», но она сказала: «Не дури»; к тому же, это неприлично для дочери австрийского офицера!!! Но не ссориться же нам из-за этого после двухмесячной разлуки. Она мне еще безумно много рассказывала об этой молодой даме; некоторые дамы в Б. утверждали, будто ее кузина влюблена в ее мужа. Это ужасно, потому что она тогда тоже заразится; но Гелла говорит, что ничего не заметила, хотя и усиленно наблюдала те две недели, которые он там пробыл. Он выступал и пел на двух вечеринках, но она ничего решительно не заметила. Лиззи помолвлена, но даже мне Гелла не смела ничего написать, потому что помолвку официально отпразднуют только теперь, в Вене, с неким бароном Г. Он атташе посольства в Лондоне и познакомился там с нею на одном вечере. Он ее любит безумно. Летом, в августе, он приезжал в Б., в отпуск, и просил ее руки; поэтому-то они и пробыли все лето в Б. и не ездили в Венгрию. Это и были те «особые обстоятельства», о которых Гелла не могла мне написать. И преспокойно могла бы написать, я никому не проболталась бы; ведь в конце концов Лиззи уже девятнадцать с половиной лет, и никто особенно не удивился бы, что она, наконец, выходит замуж. Большого празднества устроить нельзя, потому что отец барона умер нынче в июле. Гелле это очень досадно. Лиззи уверяет, что ей это все равно.

18 сентября. Сегодня пришло извещение о помолвке Лиззи. Как чудесно должно быть рассылать повестки о помолвке. Дора даже вся покраснела от злости, хотя на мой вопрос:

— Что ты так краснеешь? Я не вижу, чего можно так конфузиться, когда кто-нибудь помолвлен, — она сказала:

— Позволь, разве я конфужусь? Я только крайне удивлена. — Но от удивления так не краснеют.

19 сентября. Сегодня начались занятия в школе. Увы, потому что Ее больше нет у нас. На беду, прошлогодний третий класс нынче стал четвертым, и это ужасно — в той же комнате сидеть без Нее. К счастью, у нас классной дамой г-жа Шт., и она же по физике и математике. Г-жи Ф., которую мы называли «Орешек», а пятый класс — «Водопад», тоже больше нет; она переведена в Немецкий Лицей во Львове. Пока что нам велели сесть по-прошлогоднему, но Гелла говорит, что мы попросим г-жу Шт. пересадить нас на другое место, потому что воспоминание о тех трех годах, когда у нас была г-жа М., будет отвлекать наше внимание. Это прекрасная идея. По немецкому у нас преподаватель, по французскому, к сожалению, опять г-жа Дункер, цвет лица которой все еще не улучшился, а по английскому сама директориса. Это мне весьма приятно, потому что, во-первых, она очень мила, во-вторых, она ко мне благоволит из-за Доры, которая была ее любимицей. На латынь, разумеется, я ходить не буду; что мне в ней без г-жи М.? Да, вот еще — у нас новый законоучитель; профессор К. ушел на покой, потому что ему уже шестьдесят лет.

21 сентября. Удалось. Сегодня за большой переменной Гелла говорит г-же Шт., которая как раз была дежурной:

— Позвольте высказать вам просьбу.

А она говорит:

— Как, с первой же недели? Ну, хорошо, в чем дело?

Тут мы просили пересадить нас с третьей скамейки у окна, потому что это были наши места при г-же М., и нам это ужасно тяжело. Сначала она не очень-то соглашалась, но потом сказала:

— Я посмотрю, все равно так вам сидеть нельзя.

— От одиннадцати до двенадцати у нас была математика, и когда г-жа Штейнер села на свое место, она сказала:

— Ваше размещение было временным; вас все-таки надо рассадить по росту.

И потом она всех нас рассадил, и мы с Геллой попали на пятую скамейку около окна; на наших местах сидят обе двойняшки Эренфельд, а перед нами Лор и одна новенькая, некая Гаммер, Фридерика; ее папа кондитер. Мы очень рады, что ушли с ужасной третьей скамьи, где Она так часто стояла около нас и клала руку к нам на парту.

29 сентября. Сегодня у нас в первый раз был профессор Фритч, немецкий учитель. Он все время откашливается и носит золотые очки. Гелла находит его «сносным», а я нет. Уж я знаю, что в жизни своей больше не получу «превосходно» за немецкий. Вчера был в первый раз новый законоучитель, и я сидела одна, потому что Гелла, как протестантка, уходит. У него ужасный вид, и он все время глядит вниз, хотя у него огненные черные глаза. В следующий раз я сяду рядом с Гаммер, чтобы не сидеть в одиночку.

2 октября. Сегодня мы были у исповеди и св. причастия, и так как наставницы не позволяют нам выби-

рать духовника, то мне пришлось идти к профессору Руппи. Это было ужасно. Я так тихо шептала, что ему трижды пришлось повторить мне, чтобы я говорила громче. Когда я начала о шестой заповеди, то он прикрыл глаза рукою. Но, славу богу, сам ничего не спросил. Единственная наставница, которая позволяла выбирать себе духовника, была г-жа М. То-есть она тоже никогда прямо этого не разрешала, но когда какая-нибудь ученица перебегала к другой исповедальне, то она делала вид, что ничего не заметила. Законоучитель задает ужасно длинные покаянные молитвы; все девочки, которые у него исповедывались, страшно долго отбывали свою эпитимью. Хоть бы он на экзамене не был так строг, а то я получу «неудовлетворительно», а это будет ужасно.

3 октября. Сегодня папа был такой чудный. Вероятно тетя Дора ему передала, что я ее недавно спрашивала, не думает ли папа жениться на советнице Ридль, потому что ее муж умер почти в одно время с нашей мамой и потому что папа опекун ее троих детей. Сегодня она приводила к нам Вилли, потому что он теперь поступил в школу. Вот мы с Дорой и говорили об этом, и она сказала, что если папа это сделает, то она уйдет из дома. А вечером, когда мы сидели вместе после ужина, я говорю:

— Если бы только фрау фон-Р. не была так безобразна. Ты ведь тоже находишь ее ужасно некрасивой, папа, не правда ли?

А папа засмеялся так ласково и говорит:

— Не бойся, моя чародеечка, я вас не обижу, не приведу вам в дом мачеху. — И тут я так была рада, и Дора также, что мы папу страх как расцеловали, и Дора сказала:

— Да, я все равно знала, что ты не нарушишь клятвы, данной тобою маме, — и страшно расплакалась. А папа сказал:

— Нет, детки, я никогда не давал маме такой клятвы, да ее благородная душа никогда не потребовала бы этого. Но при таких взрослых девушках, как вы, мачехе нет места в доме.

Тогда я сказала папе, что Дора ушла бы из дома, хотя, в сущности, очень на это разозлилась. Ведь, если бы папа действительно еще раз женился, то ведь мне пришлось бы это вынести, а следовательно, и Доре тоже. Но папа еще раз повторил:

— Не бойтесь, я наверное не женюсь во второй раз.

А я сказала:

— Даже на тете Доре?

А он сказал:

— Ну, уж на ней... — а потом поскорее спохватился и сказал:

— Нет, нет, даже на тете Доре не женюсь.

И вот теперь Дора говорит мне, что я показала себя сущей дурой, ведь я же знаю, что папа вовсе не восхищен тетей. А потом она упрекала меня за то, что я сказала папе, что она уйдет из дому, если он все-таки снова женится. Я, мол, ребенок, которому нельзя доверять своих сокровеннейших мыслей. Так мы теперь проспорили по крайней мере три четверти часа и теперь уже половина двенадцатого. К счастью, завтра занятий нет, потому что это день рожденья императора. Но я все же очень рада, что мы положительно знаем, что папа не женится на г-же Р. Я бы не ужилась ни с какой мачехой.

9 октября. Ужасно труден в этом году немецкий. Мы не смеем теперь писать плана к сочинениям, а должны

их писать из головы и потом располагать, а я этого не могу. Профессор Фритч очень красив, но все девочки его страшно боятся, потому что он ужасно строг. Его жена в сумасшедшем доме, а его дети находятся у его мамы. Он развелся с нею, и так как он, к счастью, протестант, то он может снова жениться, если захочет. Гелла совсем в него влюблена, а я ничуть. Я только вспоминаю профессора В. во втором классе, — с меня этого довольно. В профессоров я теперь абсолютно не влюбляюсь. В той учительской семинарии, где Марина теперь на четвертом курсе, в прошлом году один профессор женился на своей прежней ученице. Вот уж чего бы я ни за что не сделала — выйти замуж за своего старого профессора, который все твои ошибки знает! А затем, он должен быть, по крайней мере, лет на двенадцать—двадцать старше девушки, а это ужасно; выходи уж тогда лучше за собственного папу замуж; тот, по крайней мере, наверняка тебя любит, и ты хоть знаешь, как и что он требует; но выходить за такого старого профессора — ну, и вкус, нечего сказать.

15 октября. Я безумно боюсь, что у Геллы будет рецидив; она говорит, что во второй раз, да вообще теперь, после того как... она ни за что не даст себя оперировать, лучше умрет. Боже, это было бы ужасно. Я ее страшно уговаривала сказать своей маме, что у нее такие боли; но она не хочет.

19 октября. Геллин папа в ноябре получит генерала и переведется в Краков. Слава богу, она останется здесь у бабушки до окончания лицея. Только на рождество, на пасху и на каникулярное время она будет ездить туда, и она уже безумно этому радуется. От радости ей опять совсем хорошо. В школе все очень гордятся тем, что

у нас в классе есть генеральская дочка. В третьем классе тоже есть генеральская дочка, даже дочка лейтенант-фельдмаршала, но он уже на пенсии, а папа всегда говорит, что раз кто на пенсии, то до него никому дела нет.

22 октября. Мы едва успеваем учиться от волнения. Мама Геллы получила на прошлое рождество несколько романов Гейерстамма, и один из них лежал на-днях на столе. Как только мама ее вышла, Гелла живо его перелистала и прочла заглавие: «Власть женщины»!!! Когда ее мама его дочитала, она подсмотрела, куда она его ставит в шкафу, и теперь мы его читаем. Просто великолепно. Я целую ночь не сплю; эта Сигне, которую он так любит, и которая его все-таки обманывает. Мы так плакали, что не могли больше читать. И эта девочка Гретхен, которая так любит своего папу; да я великолепно понимаю, что она постоянно боится, как бы ее папа не женился на этой отвратительной женщине, фрау Элизе, у которой ведь уж без того муж есть. И как она потом умирает, боже, это так хорошо и так ужасно, что мы это место три раза подряд перечитали. У меня даже глаза совсем покраснели от слез, так что тетя сказала, что мне нельзя так много учиться; она ведь думает, что мы с Геллой вместе готовим литературу. Боже мой, ученье так ужасно, когда читаешь такие книги.

24 октября. Когда я гляжу на папу, я все вспоминаю роман «Власть женщины», разумеется, отбросив Сигне. Гелла надеется еще что-нибудь стянуть, но это не так просто, потому что ее мама легко может это открыть, так как она очень часто дает читать книги разным знакомым дамам. Может выйти огромный скандал. «Книги о братце» мы себе не потребуем, едва ли в ней что-нибудь есть, но один роман называется «Комедией

брака»; это наверное прекрасно, мы непременно должны его прочесть.

26 октября. Брукнеры остаются на своей квартире и к ним переселится бабушка; только сам Генерал (!!!) едет в К. и мама Геллы, конечно, тоже. Лиззи останется здесь, потому что она ходит к Шоттен учиться стряпать, так как на масляной она выходит замуж!!!

31 октября. Родители Геллы сегодня уехали. Она страшно плакала, потому что ей смертельно хотелось самой тоже поехать. Лиззи все равно, потому что она уже невеста и ее жених, барон, во всяком случае придет на рождество в Вену или Краков; ему это безразлично.

4 ноября. Сегодня мы, то-есть многие из класса, бесились со злости на немецком уроке. Из-за того, что некоторые девочки не знают, где надо ставить запятую, а где нет, профессор не прямо, а обиняком сказал, что мы за прошедшие годы ничему не научились. Мы очень хорошо поняли, что он метил в г-жу М., у которой немецкие уроки в десять, нет в сто раз были лучше, чем у профессора Ф. И как раз на знаки препинания М. обращала особое внимание и приводила нам множество примеров; хороший слог не оттого зависит, поставила ты запятую или нет. Обе Эренфельд, которые под конец очень обожали г-жу М., сказали, что мы, любимицы г-жи М., должны были бы написать какое-нибудь сочинение без единой запятой, ему в отместку. Это прекрасная идея, и мы с Геллой хоть сейчас готовы, если только можно положиться на остальных.

6 ноября. Нынче все в классе должны два раза в месяц делать экскурсии, даже зимою. Если бы дело было в прошлом году, когда г-жа М. еще была здесь, я наверное каждый раз ходила бы. Но так, без нее—нам

это совсем не весело. Г-жа Шт. тоже очень милая, но все же не так, как г-жа М. Да, кроме того, мы теперь каждое воскресенье ездим куда-нибудь с папой на целый день, и Гелла всегда ездит с нами, а также Лиззи, когда захочет. Как только выпадет снег, мы будем кататься на салазках с Гайнфельда или Лилиенфельда.

3 декабря. Боже, почти целый месяц ничего не писала, но зато сегодня... Какой скандал за немецким уроком. Дело в том, что мы получили обратно сочинения, в которых мы с Геллой, обе Эренфельд, Браунер, Берглер Эдита, Кюнелт не проставили ни единой запятой. И ничего бы не было, если бы эта дура Браунер не стерла потом все запятые, которые она ранее поставила. На случай, если бы профессор что-нибудь заметил, мы условились сказать, что мы хотели совместно до урока обсудить, где надо поставить запятые, но что мы не успели. А теперь эта дура все испортила. Он доложит этот случай на конференции. Но в конце концов нельзя же шести ученицам из двадцати пяти выставить неудовлетворительную отметку за поведение; этого даже не должно быть.

4 декабря. Сегодня директорша присутствовала на немецком языке. Потом она сказала, что надеется, что все те прекрасные знания, которые нам в течение трех лет преподавала г-жа М., дадут прочное основание для нашего дальнейшего образования в высшем лицее. А на английском уроке она говорила об ограниченном употреблении знаков препинания в английском языке; а в конце концов нас, шестерых преступниц, вызвали в канцелярию. Вся школа уже знает об этом и восхищается нашим мужеством, особенно младшие классы, а пятый и шестой злятся, что четвертый решился на такую штуку. Директорша

жестoko нас разругала, она сказала, что это неслыханная дерзость и что мы этим только конфузим г-жу М. Тут выступила Гелла и говорит так скромно:

— Разрешите сказать одно слово в нашу защиту.

И затем она сказала, что профессор Фритч при всяком удобном случае говорит колкости по адресу г-жи М., конечно, только обиняком, но так, что мы это все же понимаем, и что мы из-за этого так поступили. На это директорша сказала, что это, вероятно, неверно, что никогда ни один преподаватель не станет дурно отзываться о другом, что мы просто не так поняли профессора. Ну, это дело известное; ведь и «Орешек» сколько раз говорила за математикой:

— Этого вы не знаете? Вы же должны были это проходить!

Но интонация!!! Завтра конференция, и нам велено постараться до тех пор все уладить. Обе Эренфельд хотели, чтобы мы написали заново всю работу — с запятыми, разумеется, — и положили завтра на стол к немецкому уроку, но все остальные запротестовали, потому что мы отлично видели, что начальница вся покраснела, когда Гелла это сказала. Мы сделаем поправки, но мы все заведем новые тетради.

8 декабря. Вот уже три дня прошло после конференции, но о нашем деле ни гу-гу, а вчера за немецким уроком профессор дал тему для третьей домашней работы и ничего особенного при этом не сказал. Мне кажется, что он просто не смеет. Гелла нас положительно спасла, потому что никто другой не рискнул бы это сказать, даже я. Гелла сказала:

— Милая моя Рита, на то я и дочь офицера; если у меня мужества не хватит, у кого же оно тогда найдется?

Все девочки смотрят на нас во время перемены и при уходе, хотя начальница и сказала нам в канцелярии:

— Я не желаю, чтобы этот инцидент разнесся по всей школе.

Но у Браунер есть сестра во втором, а у Берглер Эдиты сестра в пятом, и таким путем об этом узнали все классы. Родителей, очевидно, вызывать не будут, иначе это было бы уже сделано. Впрочем, я из предосторожности уже намекнула кое о чем дома. А так как Дора, слава богу, уже в лицей не ходит, то и сплетни выйти не может. Мы только на минуту взволновались, но Гелла совершенно права, когда говорит: «Нам наверное ничего не будет, потому что мы правы».

15 декабря. Встреча с Виктором!!! Мы с Дорой пошли за рождественскими покупками, и только что свернули в Тухлаубен, как с ним столкнулись. Дора так вся и заалела, и у обоих дрогнул голос. Он чудесен: эти черные усики и эти глаза. И зеленые отвороты ему дивно к лицу. Он скорее откашлялся, чтобы никто ничего не заметил и прошел с нами до Верхнего Рынка; ему продлен отпуск еще на полгода, потому что у него горловая болезнь; следовательно, Дора может успокоиться, если она дулала, что...

На прощанье он нам обоим поцеловал руку и так нежно улыбнулся, печально и в то же время нежно. Я потом несколько раз пыталась заговорить о нем, но если Дора чего-нибудь не хочет, то ты хоть на голову становись, а ничего не добьешься: этакое упрямство! Она с самых детских лет всегда была такая. Она, бывало, так тупо скажет: «До нет». Это значит: Дора не хочет. Этакий упрямый клоп!

17 декабря. Вчера у нас состоялось первое катанье на Аннингер; было чудесно, мы все время барахтались

в снегу; его довольно много напало, особенно там, где было меньше народу. На возвратном пути с Геллой случилась такая потеха: она зацепилась ногою за какой-то корень и сорвала себе всю подметку с новых башмаков. Пришлось привязать подошву шпагатом, и она при этом хромала, и все думали, что она вывихнула себе ногу при катаньи. А бабушка ее была совсем вне себя и сказала:

— Вот результаты таких неженственных развлечений.

Тетя Дора страшно рассердилась на это, потому что ведь и она была с нами. Но папа сказал:

— Бабушка Геллы старая женщина и в ее время в этом отношении держались иных взглядов.

Да, уж действительно, в этом отношении. Гелла раз двадцать за день чувствует, что ей то того, то другого нельзя говорить и делать; и что только не считается неприличным для такой молоденькой девушки! Бабушка рада была бы посадить ее под стеклянный колпак, но не прозрачный, чтобы ни она из него не выглядывала и никто в него не заглядывал (это главное!).

20 декабря. Так, значит, сегодня был у нас последний немецкий урок перед рождеством и по нашему делу так ничего больше и не случилось. Вербенович, эта несчастная подлиза, которая подмазывается ко всем учителям, и новенькая Гаммер, которая не знала г-жи М., его поздравили. Кстати, вчера в один час дня мы повстречали Франке; она ходит в драматическое училище и говорит, что там совсем иной тон и что она страшно рада, что отделалась от школы. Историю с проф. Ф. она уже знала и поздравила нас с твердостью нашего характера, особенно, конечно, Геллу. Она утверждает, что эта история облетела все лицеи Вены, по крайней мере, она слышала о ней от одной ученицы лицея для дочерей чиновников,

сестра которой ходит с нею в театральную школу. Ей там очень хорошо, досадно только, что подобное учреждение тоже называется школой, потому что ни о какой школе там и речи нет; мы удивились бы, какой там царит свободный тон. Она, кстати сказать, очень хорошенькая, только немного шумлива, так что на нас все оглядывались. Она надеется через год пригласить нас на свой первый дебют!! Вот уже чего бы я не хотела—стоять на сцене перед толпою чужих людей; я ни слова бы из себя не выдавила.

21 декабря. Гелла в ужасном огорчении. Третьего дня у нее сделалась такая инфлуэнца с ангиной, что она не может ехать в Краков. Она говорит, что она рождена на несчастье — второе пропавшее рождество: в позапрошлом году операция аппендицита, а нынче эта злополучная инфлуэнца. Авось, хоть ее мама приедет в Вену, но тогда папа один останется. А что же нам сказать — рождество без мамы, первое рождество без мамы. Мне совсем нельзя об этом думать, а то я сейчас заплачу. Дора тоже говорит, что рождество без мамы — не рождество. Что-то папа скажет на мамин портрет! Только бы рамка была готова к завтраму. Гелла, главным образом, потому так несчастна, что она Лайоса не увидит. Впрочем, она в то же время смертельно влюблена в одного драгунского лейтенанта, которого мы каждый день встречаем, а он в нее. Он — граф. Он знает, что ее папа генерал, потому что, когда ее папа ехал представляться императору, то Гелла проехала с ним немного в автомобиле, и они повстречали лейтенанта. С тех пор он ей кланяется на улице. Он страшно большой и имеет очень аристократический вид.

Меня одно только злит в Гелле, это то, что она всегда отрицает, если она в кого-нибудь влюблена. Я всегда ей

говору, а если она сама что-нибудь заметит, так я, по крайней мере, не отрицаю. Что за смысл отрицать между подругами. Например, в прошлом году она несомненно была влюблена в молодого врача в санатории. А когда мы в сентябре ехали из Тобена с этим чудным летчиком, я же не отрицала того, что я безумно влюблена. Но она не поверила и сказала:

— Какая же это любовь — целыми месяцами не видаться и тем временем кокетничать с другими. Это был намек на богатыря Зигфрида. Господи, на него! просто смех берет!

22 декабря. У меня огромная радость. Г-жа М., то-есть ее теперь зовут фрау профессор Тейер, мне написала. Дело в том, что я ее поздравила с рождеством, и она меня благодарит и поздравляет с новым годом! Она меня первая; это божественно! Я страшно разозлилась, когда Дора сказала, что она это сделала, чтобы не писать вторично. Но это наверное неправда. Дора говорит эти вещи только для того, чтобы меня подразнить. Но это дивное божественное письмо, я вечно буду носить его при себе с Ее фотографией. Гелле она прислала только открытку, разумеется, потому что и она послала ей лишь открытку. Вот г-жу М. я могу хорошо представить себе своей мачехой, то-есть не совсем хорошо, но скорей всего. Она так ласково пишет о нашей маме и о том, что нынче рождество будет для нас не таким радостным, как всегда. И в этом она права. У нас никому не кажется, что послезавтра сочельник. Единственное, чему я радуюсь, так это паниным глазам, когда он увидит портрет. Но, вообще, после такой смерти вовсе не следовало бы праздновать рождество, потому что в такие дни вдвойне тяжело.

23 декабря. Хотя у меня еще бездна дела к рождеству, но сегодня я должна написать. Ну-с, так вот, сегодня утром, так около половины двенадцатого, раздается звонок. Я думаю, что это Гелла, которая хотела зайти за мною, если будет хорошо себя чувствовать, бегу, распахиваю дверь и говорю:

— Честь имею,—и только это собираюсь продолжать, как вдруг обалдеваю: в дверях стоит господин и спрашивает:

— Принимают?

Я его сразу же узнала, это был д-р Прукмюллер из Фибербрунна. Тем временем Дора отворяет дверь гостиной, и тут вся ее фальшь и сказала: она ни мало не удивилась, а только сказала:

— А, г-н доктор, как хорошо, что вы сдержали слово.

Следовательно, он ей, верно, обещал, что придет, и она, вероятно, знала, что он сегодня придет, потому что она повязала черный шелковый фартучек с прошивками, а мы их надевали только при гостях. Этакая фальшь! В наказание я тоже пошла в гостиную. Потом пришла тетя Дора и пригласила его к вечеру. После этого он ушел. При этом он не сказал со мною ни слова; мне кажется, он даже не заметил, что я вообще еще существую. Только уходя, он спросил меня:

— Ну, как же вы поживаете?

— Боже мой,—сказала я,—так, как поживаешь после смерти, да еще маминой.

Дора вся вспыхнула, потому что она поняла. Если это мой будущий зять, то уж я знаю, как себя поставить. Но до тех пор еще много воды утечет; ведь он же в Иннсбруке, а папа едва ли позволит Доре выйти замуж в Иннсбрук. За столом я не сказала ни слова, так я была

возмущена этой фальшью. Но дальше было еще лучше. Вечером, около семи часов, или когда это было, появляется г-н доктор. Выходит Дора в белой блузке с черным бантом,—и ведь нарочно пробыла до тех пор в своей комнате, чтобы я не знала, как она оденется. По правде говоря, я думала, что она наденет черное платье «реформ» с прошивками, и сама так оделась. Ну, да это все равно.

За столом он все время разговаривал с Дорой, а я нарочно говорила с Освальдом. Потом он сказал, что к первому марту переводится в Вену. Дора и тут ничуть не удивилась, следовательно, она уже знала об этом.

Теперь — то я ясно припоминаю, что в октябре почтальон как-то раз дал мне письмо на ее имя, со штемпелем Иннсбрук. Очевидно, она все время с ним переписывалась, меньше полугода после маминой смерти, каково? А когда я веселилась на даче, она меня толкала под столом, чтобы я не хохотала так безумно. И если мой зятек *in sere* — господи, вот смех-то! Несколько лет тому назад, помнится это было в Гойзерне, мы прозвали Дору «Инспе», потому что она сказала про меня и Роберта Варт: «жених с невестой *in sere*». А теперь она сама в этом положении. Вечером, когда доктор уходил, я дрожала, что папа позовет его на елку; но, слава богу, когда папа спросил: — А что вы делаете завтра? — он сказал:

— Я завтра буду в семье моей сестры, которая замужем за одним полковником и живет в Вийдене.

Слава богу, а то этого еще не хватало, когда мы совсем не в настроении принимать гостей, да и вообще нынче, в первое рождество без мамы.

А что, если бы она знала... очень бы я хотела знать, что ж именно станет с душой. В рай, конечно, я уже давно не верю: но ведь душа все же куда-нибудь должна

попасть. Сколько есть на свете загадок, приводящих в уныние. Недавно я прочла в газете название главы какого-то романа: «Загадка любви». Не на всякого, однако, наводит уныние эта загадка; пример тому Дора. Впрочем в этом отношении все барышни, все наши старшие сестры похожи друг на друга. Подумать только, что Гелла рассказывала мне про обручение Лиззи. Но Лиззи хоть познакомилась с женихом своим в Лондоне, а не в семейном кругу; фальшь, впрочем, все та же. В чем же тут загадка? Ну разве не проявила бы она больше сердечности и здравого смысла, рассказав все своей сестре. Можно ли после этого быть уверенным в том, что ваш союзник вам не изменит? Мне, впрочем, все равно, мне это не может испортить рождественских праздников, если вообще может идти речь о праздниках. Гелле я скажу, что, во всяком случае, я непременно приду к ней и к ее бабушке в Стефаньин день вечером, то-есть тогда именно, когда они его пригласили. Все-таки это хорошо, что они остались в Вене.

25 декабря. Так и есть, рождество прошло очень уныло. Мы все трое получили по маминому портрету в натуральную величину, в прекрасных зеленых рамах. Мы ими украсили свои комнаты. Дора первая громко всхлинула, за ней разревелась и я и, бросившись к папе, обняла его. У него тоже были слезы на глазах, он ведь безумно любил маму. Один Освальд не расплакался, он лишь беспрестанно кусал себе губы. Одному только была я рада, это отсутствию доктора П., потому что ужасно неприятно плакать при посторонних. Мы обе получили прекрасные белые блузы, но не кружевные, а гипюровые, затем я получила от тети альбом на пятьсот почтовых карточек, очень красивый, потом сборник стихов, который

я очень хотела иметь. Венгерские танцы Брамса, потому что в прошлом году Дора не хотела мне дать свои под предлогом, что они для меня слишком трудны. Точно ее это касается. Пусть уж лучше учительница музыки судит об этом. Кроме того мне подарили почтовую бумагу с моей монограммой, зонтик с петлей, на которой его можно вешать на руку, ленточки для косы и другие мелочи. Маленький мамин портрет страшно обрадовал папу. Не зная ничего о том, что он велел нарисовать для нас большие мамины портреты, мы сами для него заказали художнику Милановицу, который знал хорошо нашу маму, совсем маленький ее портретик, в красках, конечно, с последней маминной фотографии, снятой позапрошлой зимой. Портрет в восхитительной рамке рококо, которая может закрываться; когда она открыта, то мама как-будто смотрит из окна. Это была моя мысль и г. Милановиц нашел ее в высшей степени оригинальной. Доре очень неприятно, что он не взял денег за портрет, но благодаря этому мы смогли заказать более элегантную рамку.

Все же после рождества мы пошлем ему тонких сигар в виде подарка к новому году; мы их купим на свои деньги; я хотела к рождеству, но мы обе ничего не понимаем в сигарах, а спросить мы никого не хотели, так как никогда не знаешь, не выдадут ли тебя, хотя бы и не нарочно; впрочем, это неправда, если выдают, то уж всегда заранее, про себя, об этом думают, а впоследствии только оправдываются тем, что будто бы нечаянно проговорились. Все это, впрочем, давно уже всем известно.

Я не буду перечислять всех подарков, отдельно полученных Дорой, упомяну лишь об одном: в семь часов, как раз, когда папа зажигал елку, принес посыльный

чудные розы, перевитые ветвями омелы, с маленьким букетом фиалок, прикрепленным внизу у стеблей... это, конечно, от д-ра П., с его карточкой, а что было написано на последней, этого Дора прочитать нам самим не дала, а только сказала:

— Д-р П. желает всем приятных праздников.

Мне думается, что на карточке было написано: радостных праздников, но сказать это Дора не решилась. Да, от Геллы я получила бисерный мешочек, а она от меня — портмоне с двуглавым орлом, она очень хотела иметь именно такое военное портмоне. Я еще никогда не видела барышни, так любящей военных. Я тоже нахожу, что офицеры страшно шикарны, но из-за этого игнорировать других мужчин — это уже слишком. Другие, притом, учатся, например: доктора, юристы и даже горняки, я не буду упоминать о студентах Высшей Земледельческой Школы, которых я не считаю «полноценными» (как всегда выражается Гелла). Всем им, несомненно, приходится учиться гораздо больше, чем офицерам. Гелла никогда не признает этого и всегда ссылается на офицеров Генерального Штаба, как будто все офицеры — «Генштабисты»! Мы уж не раз об этом спорили. Тем не менее, всем сердцем я желаю ей заполучить офицера, да притом такого, у которого были бы деньги, чтобы внести реверс, так как иначе дело не выгорит, потому что, по словам папы, у Брукнеров нет средств. Положим, он говорит то же самое и о нас, но я этому не верю; богатыми мы считаться не можем, но я думаю, что каждая из нас смогла бы внести реверс за своего жениха. Возможно, впрочем, что Доре этого и не понадобится, если она действительно выйдет за д-ра П.

27 декабря. Итак, я вчера была у Геллы и сидела у нее ровно до девяти вечера, а в первый день праздника она была у нас. Выше я написала, что у Брукнеров нет средств, а теперь мне это кажется как раз наоборот. Мы всегда получаем много прекрасных подарков к рождеству, к рождению и к именинам (именин, впрочем, у протестантов нет), но мы не дарим друг другу таких великолепных вещей, как Брукнеры. Гелла получила шелковую розовую материю на платье, в котором она будет брать уроки танцев. Такая материя стоит не менее пятидесяти крон. А кружевной воротник и манжеты, ею полученные, стоят у Фейнера, мы сами это видели, двадцать четыре кроны. Кроме того ей подарили золотое кольцо с изумрудом и много мелочей, на которые она даже и не взглянула. А ее сестра, чего она только не получила, массу всевозможных вещей для обзаведения.

У Брукнеров елка стоила двенадцать крон, а наша только семь, хотя она была не хуже. Потому-то я и думаю, что у Брукнеров есть деньги; я между прочим сказала Геле:

— Вы, должно быть, колоссально богаты.

А она ответила:

— Ну, уж не так, чтобы очень; не настолько, чтобы найти себе жениха—генштабиста.

Лиззи положительно умница, ее Павел—барон и богат. К тому же он в нее безумно втюрившись. Ну разве это не отсутствие вкуса? С последним я согласна, Лиззи совсем уж не так хороша; у нее, правда, чудные светлые волосы; но остальное.., прежде всего она так худа, никаких признаков г.., у Геллы этого в десять раз больше... А если до двадцати лет их у вас нет, то уж и не будет после. Сегодня было просто великолепно. Гелла спросила меня:

— Слушай-ка, как зовут доктора твоей сестры?

Тут только мне пришло на ум, что на его визитных карточках было обозначено кратко: доктор прав, А. Прукмюллер, и я вспомнила, что еще летом, вскоре после нашего знакомства, Дора выражала сожаление, что его зовут Август, так как имя это совсем к нему не подходит. У нас прямо животы заболели от смеха. Гелла, разумеется, сейчас же запела «Ах, мой милый Августин, Августин», затем мне вспомнился «рыжий» Август из цирка, а потом мы стали говорить, как Дора будет его называть. Густин или Густерль, или Ауги, мой милый Ауги, мой любимый Густерль. Мы просто померли со смеха. После этого мы стали выбирать имя по своему вкусу, и я сказала «Эвальд» или «Лео», а Гелла сказала:

— А не Зигфрид?—но я ей зажала рот и сказала:

— Ну, этим ты меня можешь серьезно разозлить. Это забыто и должно остаться забытым.

После этого она сказала, что ей было бы приятней всего, чтобы ее жениха звали или Петром, или Тамрианом, или Хризостомосом. Она бы тогда его называла «Мой любимый Дами или Зости»; затем она совершенно серьезно прибавила, что она выйдет замуж только за того, у кого будет имя Эгон, Александр или уж, в крайнем случае, Георгий. В эту минуту вошла ее мама, чтобы позвать нас пить кофе и сказала:

— Какой там Александр или Георгий, вы ужасные девчонки. Как только вы остаетесь одни, хоть на две минуты (я пришла в половине третьего, а Брукнеры пьют кофе в четыре—это у Геллиной мамы называется «две минуты»), как вы уже ведете неподходящие разговоры.

Так как Гелла боялась, что ее мама подумает бог знает что, то она ей ответила:

— Ах нет, мама, ведь мы говорили о том, какое имя мы бы предпочли для наших женихов.

Вот-то было чудно, как ее мать вскипела:

— В том-то и дело, что вам только по пятнадцати лет (я их, впрочем, еще не достигла), а вы думаете о таких глупостях.

О таких глупостях—это просто смеху подобно. Во время чая было почти так же скучно, как на-днях у нас вечером; так как присутствовал барон, то все были на «ты», потому что свадьба будет уже в феврале, как только выяснится, останется ли барон в Лондоне, или же переедет в Берлин. Ведь это же смешно, должно быть, говорить совершенно постороннему мужчине «ты».

Однако, по словам Геллы, она к этому моментально привыкла. Она утверждает, что Павел ей вообще нравится. Когда он приносит конфеты Лиззи, в те дни, когда та идет в театр, то он и ей преподносит отдельный мешочек. Другие этого, конечно, не делали бы. А еще другие—не приняли бы. Когда я сегодня вернулась домой, то папа сказал:

— Ну, уж другой раз ты совсем оставайся на ночь у Буркнеров.

Я ему ответила:

— Я не хотела причинять беспокойства.

Освальд же тогда сказал:

— Тебя за это следует вздуть.

К счастью, папа был уже за дверью, и поэтому я ответила Освальду:

— Своих детей, если они когда-нибудь у тебя будут, ты можешь бить даже до синяков, но никаких прав над сестрами ты не имеешь, об этом тебе уже говорил папа в Фибербрунне.

— Да, да, папа всегда вам потворствует, это всегда было так.

— Пожалуйста, не вмешивайте меня в свой спор,— сказала Дора, будто она и я не одно и то же. В это же время тетя Дора промолвила:

— Ну, прошу вас, не спорьте беспрестанно.

— Я не начинала,—добавила я и, не пожелав доброй ночи, ушла, то-есть пошла к папе, в его комнату, и по пути встретила с тетей Дорой в передней. А Освальду и Доре так и не сказала спокойной ночи. Не должна же я от них все сносить. Теперь уже половина двенадцатого, я так долго писала и так много плакала, потому что я очень несчастна. Этого даже Гелла не знает. Пора уже ложиться спать, смогу ли только заснуть, вот вопрос? Завтра, если удастся, я опять одна пойду на кладбище.

31 декабря. Сегодня мы с Геллой были на кладбище. Вчера вечером ее папа с мамой уехали опять в Краков, и она сказала своей бабушке, что до обеда она пробудет у меня, а я сказала своим, что я буду у нее. Таким образом мы смогли поехать одни в Петцлейнсдорф. Гелла осматривала кладбище, а я пошла на могилу нашей любимой, единственной мамы. Я так несчастна; Гелла, правда, меня очень утешала, но она ведь не в состоянии всего этого понять.

1 Января 19... Вчера, конечно, мы не встречали нового года, мы были совершенно одни и было очень тоскливо. Сегодня перед обедом пришел доктор П. с букетом роз для Доры; поздравляя тетю Дору и меня, он преподнес нам обоим чудных фиалок. Его пригласили к нам второго вечером, так как четвертого он уже должен уехать. Я не в восторге от этого приглашения. Слава богу, завтра опять начинается школа. Идя по улице, я встретила те-

легу с навозом — это к счастью; папа говорит, что это скандал, что у нас в Вене они еще существуют и даже в новый год, в два часа дня, они ездят по улицам. Но что же из этого, если это к счастью?

2 января. Так и есть, телега с навозом меня не обманула. Уже сегодня приплыло к нам счастье. В большую перемену в передней собралась вдруг толпа девочек, у меня чуть сердце не разорвалось при виде стоявшей среди них г-жи М., вышедшей замуж за профессора Тейера; она сразу нас заметила и подала нам обеим руку, которую мы поцеловали. Она приехала вместе с мужем навестить своих родителей. Не зная наверное, удастся ли ей побывать в школе, она ничего не написала ни мне, ни Гелле. Боже, как она прекрасна и восхитительно мила. После звонка, когда к нам уже вошла г-жа Дункер, я все еще их видела за дверью. Тогда я приложила поскорей платок к лицу, будто у меня идет кровь из носа, бросилась вон и подбежала к ней. Поскользнувшись, я чуть не упала, и она обеими руками поддержала меня. Едва я успела к ней подбежать, как примчалась Гелла со словами:

— Ах, я сразу поняла, я сказала, что тебе очень дурно, и я хочу посмотреть, что с тобой.

Г-жа М. рассмеялась и сказала:

— Ах, вы гадкие комедиантки. Я вас сейчас прогоню обратно.

Этого, конечно, она не сделала и была невероятно очаровательна, а под конец сказала, что мы должны идти в класс.

Но мы стали ее отчаянно упрашивать не прогонять нас. Она нам ответила:

— Нет, от вашей бывшей преподавательницы вы этого не ждите, но я скажу вам нечто лучшее. Приходите-ка ко мне завтра на часок. Хотите?

— Конечно,—воскликнули мы обе. При этом она объяснила, что остановилась в гостинице, но чтобы туда нам не идти, она будет нас ждать у своих родителей на Швиндгассе, куда и приглашает нас в четыре или в половине пятого. Мы поцеловали ей обе руки и были так счастливы! Следовательно, завтра в четыре часа. Боже мой, придется ждать еще целую ночь и почти целый день. «Если ваши родители позволят»,—сказала она. Господи, вдруг папа или бабушка Геллы не позволят. Но папа только сказал:

— Смотри, Гретель, не потеряй своей головы, а то и дороги не найдешь на Швиндгассе. А что, Гелла такая же сумасшедшая, как и ты?

Разумеется, разве может быть иначе.

3 января. Еще два часа ожидания. Это прямо несносно. В половине четвертого за мной зайдет Гелла. Сегодня в школе мы с ней все время переглядывались, а другие девочки думали, что тут замешан какой-нибудь мужчина. Господи, где уж тут думать о мужчинах. Нам пришла в голову превосходная мысль, сделать ей на память какой-нибудь маленький подарок, она уедет ведь только пятого вечером. Я отдала напечатать на шелковой закладке мансового цвета эдельвейс и ее монограмму Е. Т., конечно, новую. А Гелла делает деревянный мозаичный ножик для разрезания бумаги. Такая вещь мне бы тоже более улыбалась, но у меня не хватает терпения, и к концу работы очень часто я все порчу. При вышивании же ничего нельзя испортить. Жаль, что мастер приготовит мою закладку не ранее половины четвертого. Мне придется, значит, работать всю ночь и весь завтрашний день.

Вечером. Мастерница, эта глупая рожа, забыла про мою закладку, и я получу ее лишь завтра утром. Уж не знаю, право, радоваться мне или огорчаться, все зависит

от точки зрения, но теперь у меня поневоле есть время писать. Это было божественно! Мы гуляли перед ее домом по крайней мере с полчаса, пока не настало пять минут пятого. Боже, как она была мила! Она хотела быть с нами на «вы», но на это мы никак не согласились и она опять перешла на «ты». Я не знаю, о чем мы только не болтали. Вдруг я страшно расплакалась; тут она меня прижала к своей г..., нет, ничего такого я не напишу о ней. Она притянула меня к себе, и я почувствовала биение ее сердца и почти сошла с ума. Гелла утверждает, что обеими руками я обняла ее за шею, но это ее воображение, я бы никогда не дерзнула это сделать. У нее такие восхитительные руки, а обручальное кольцо так блестит на ее божественном безымянном пальце. Мы, конечно, говорили о школе, и вдруг она спросила: «что же это, собственно, было с этими сочинениями, в которых половина класса умышленно не поставила знаков препинания?»

— Господи,—сказали мы обе,— это низкая ложь, не пол-класса это сделали, а лишь те шесть учениц, которые вас, фрау доктор, всегда особенно уважали.

Тут мы ей рассказали, как все произошло. Она немножко посмеялась и сказала:

— Ну, дети, вы мне этим не оказали особенно дружеской услуги. Это была большая дерзость с вашей стороны.

Тогда я говорю:

— Но замечания профессора Фритча были в десять раз более дерзки, потому что они относились к преподавателю, а еще вдобавок к вам.

Тогда она ответила:

— Милые дети, в жизни всегда так бывает, об отсутствующем почти всегда плохо отзываются, безразлично,

имеются ли на это основания или нет; к сожалению, так бывает во всех профессиях.

Гелла тогда сказала, что наша директриса не такова, потому что иначе произошел бы колоссальный скандал, ибо все венские лица об этом знали.

На это она ответила:

— Да, у вашей директрисы много благородства.

Затем была замечательная штука, даже две замечательных штуки: во-первых, она угостила нас великолепными конфетами, каких я еще никогда не едала. Это утверждает и Гелла, а мы с ней знатоки в сладостях. Второе же, еще более замечательное, было следующее: некоторое время спустя после нашего прихода, кто-то постучал в дверь и вошел ее муж, профессор, и сказал ей:

— Привет, мое сокровище, — а нам: — добрый день, барышни.

Она нас представляет и говорит:

— Вот мои любимые ученицы и верные поклонницы.

Профессор весело смеется и отвечает:

— Этого нельзя сказать про всех учеников.

Тогда я восклицаю:

— Нет, о фрау доктор можно, и теперь еще весь наш класс готов идти за нее в огонь.

После этого он ушел, а она сказала:

— Извините одну минутку, — и вышла, и было ясно слышно нам, как в соседней комнате он ее поцеловал. Когда она вернулась обратно, то на устах ее были слова:

— Ну иди, Карл, будь здоров.

Как жаль, что его зовут Карл, это такое прозаическое имя, а он ее называет «Лиза»; когда же они остаются наедине, то, вероятно, он зовет ее «Лизхен», потому что он уроженец Северной Германии. Мне пора уже ложиться

спать, почти половина двенадцатого. Продолжение завтра. Спи спокойно, мое милое, прелестное, очаровательное, золотое, единственное сокровище. Боже, как я счастлива.

6 января. Слава богу, что сегодня праздник и мы не сможем кататься с гор, так как Дора простудилась! Ну, в четыре часа я получила закладку и работала целый день до двенадцати часов ночи, а вчера я встала в половине шестого и все трудилась над ней до самого обеда, а после обеда, в два часа, мы отнесли наши сувениры. Хоть и очень нам хотелось самим вручить их, но мы этого не сделали, а просто передали горничной, а когда та спросила: «Прикажете доложить о вас?»,—то Гелла тотчас же ответила:

— Спасибо, не нужно, мы не хотим беспокоить.

На мои упреки, когда мы сошли вниз, она прибавила:

— Нет, так лучше; ты и без того слишком взволнована. Разве ты не помнишь ее слов: «Милое дитя, ведь ты можешь захворать; ты не должна меня огорчать?»

Боже мой, я не могу не плакать, слезы мешают мне писать, а между тем мне необходимо нужно записать все то прекрасное, чего я никогда, никогда не смогу забыть, хотя бы мне пришлось писать еще целых восемь дней. Что же такого,—ведь я живу одним только этим воспоминанием. Нет у меня другого желания, как только увидеть ее еще раз в жизни.

В пятницу, конечно, мы понесли ей цветы, я ландыши с фиалками и туберозы, а Гелла—розы на длинных стеблях. Она нас страшно благодарила и пошла сейчас же за двумя вазами, которые принесла затем ее мама. Она такая же маленькая, как и надворная советница Р. и волосы у нее уже седые, она восхитительна; но она совсем не похожа на фрау доктор М. При прощании она опять нас угостила

конфетами. Но нам было не до того, мы едва удерживались от слез и не хотели их брать; она завернула почти все конфеты, сказав:

— Вот вам в утешение.

У кого-нибудь другого это звучало бы иронией, но у нее это вышло очень мило. Их было семнадцать больших конфет, из коих Гелла заставила меня взять девять, а себе взяла только восемь. Каждый день я буду есть по одной штуке, так что мне хватит на девять дней. Девять дней счастья и горя!! А вот Гелла так совсем не чувствует такой любви, как я, и вчера еще она мне говорила, конечно, в шутку:

— Мне кажется, что уж ничто в мире не существует для тебя; я должна тебя поддержать, иначе ты сама не выкарабкаешься.

Затем она сказала:

— Как ты могла быть так тупоумна, что произнесла при ней слова свадебное путешествие, не обратив внимания на мое покашливание. Это было верх тупоумия, и профессорша совершенно покраснела при этих словах.

Я же ничего этого не заметила, только когда ее муж, профессор, вошел, то лицо ее, действительно, стало красное, как огонь. Затем мы болтали о том и о сем, касающемся этого, то-есть Гелла и я. Мне страшно хотелось спросить ее, не отпала ли она от католичества, так как профессор, повидимому, еврей, хотя в его наружности нет ничего еврейского. В конце концов черную бороду имеют ведь многие мужчины. Но я так и не решилась ее спросить и Гелла думает, что благоразумнее не касаться таких вещей. А что, если у нее будет ребенок? Боже, это было бы ужасно. Может, она и заключила такой брачный контракт, это было бы самое лучшее. Гелла,

однако, думает, что профессор не согласился бы на что-нибудь такое. Но, конечно, если он ее безумно любит...

15 января. Девочки нашего класса безумно нам завидуют. Прямо мы им ничего не говорили, что мы были приглашены к ней, к нашей единственной, но у Геллы была с собой одна из подаренных ей конфет, и она сказала во время перемены: «это надо есть с благоговением» и разрежала конфету на две части, чтобы дать мне половинку. Эренфельды подумали, что это от какого-нибудь знакомого с катка, и Труда сказала:

— Она вдвойне сладка, твоя конфета, от шоколада и от любви.

— Да,—сказала я,—но не в этом смысле, в каком ты думаешь.

А когда та возразила:

— Ну, это отлично известно, только я не хочу быть нескромной,—то Гелла ответила ей:

— Так знай же, что эту конфету и еще много других мы получили от г-жи М., ставшей ныне женою профессора Тейера, к которой мы были приглашены.

Все были ошеломлены и сказали:

— Боже, вот счастливицы, да, вы всегда были явными любимцами г-жи М., в особенности Лайнер. Впрочем, и она всегда ужасно носилась с г-жей М.

17 января. Вся школа знает о нашем приглашении к ней, нашей божественной! Сейчас еще раз я все перечитываю и вижу, что ужасно многого еще не написала, а именно об ее папе. Когда мы уходили от нее, мы ужасно плакали у двери дома; тут я сказала, открывая двери:

— В последний раз.

В это время вошел какой-то пожилой человек; заметив, что мы плачем, хотя мы стояли в темноте, он подошел и спросил, что с нами. Гелла ответила:

— Мы потеряли свою лучшую подругу.

Тогда этот пожилой мужчина страшно пристально посмотрел на нас и спросил.

— Не вы ли те две пылкие поклонницы г-жи Мальбург? Это моя дочь.—И он продолжал:—Вам немислимо идти на улиду такими заплаканными. Вернемтесь к нам еще разочек. Моя дочь сумеет вас утешить.

И действительно, мы опять поднялись к ней, и она была бесподобна. Ее папа открыл двери и крикнул:

— Лизочек, твои поклонницы никак не могут с тобой расстаться и хотят утопиться в слезах.

Тогда она вышла в розовом халате(!!!)—душка. Она нас повела в комнаты, сказав нам:

— Не смотрите, дети, на этот старый халат, который пора уже бросить.

Мне очень хотелось сказать: «подарите его мне». Но ведь этого же я не могла сделать. Когда же мы уходили от нее снова и навсегда, должно быть навсегда, она нас опять поцеловала по два раза каждую и сказала:

— Дети, желаю вам полного счастья в жизни.

18 января. Гелла пригласила меня к себе сегодня после обеда, у нее будут Лайос и Иенё. Но я не пойду, потому что у меня меньше всего лежит сердце к Иенё. Это не была настоящая любовь. В целом свете мне нет дела ни до кого, кроме нее, моей единственной! Гелле это совсем непонятно, и она считает, что я свихнулась.

Папа также хотел, чтобы я пошла к бабушке Геллы и рассеялась. Господи, и без того уже я не говорю о ней ни одного слова, так как меня никто не понимает.

Но я никогда бы не подумала, что и папа такой же, как и другие. А то, что я худею,—это факт. Я очень довольна, что мы сегодня не поедем кататься с гор, так как Дора простудилась, на этот раз она действительно простужена. Я пойду тогда в церковь на Швиндгассе и пройдусь взад и вперед около ее дома, может быть встречу ее папу или маму. Позавчера я ей написала.

24 января. Я счастлива. Она мне ответила с первой же почтой. Это второе письмо от нее. Папа сегодня сказал за обедом:

— Ну, Гретель, что за счастливое лицо у тебя нынче; таких сияющих глаз давно уж я не видел у тебя.

На это я ответила совсем кратко:

— Когда мы выйдем из-за стола, я тебе объясню причину.

Другим ведь этого знать незачем. Когда же я ему потом сказала, что профессорша Т. мне написала, папа заметил:

— Так вот почему ты такая радостная. А у меня есть тоже кое-что на уме, что тебя должно порадовать. Первое и второе февраля будет воскресенье и понедельник, поэтому у тебя будут два свободных дня, и если тебя и Геллу отпустят на субботу, то мы смогли бы устроить прогулку в Марицелль. Что ты думаешь об этом?

Это было бы великолепно, еслиб только Гелла смогла ехать с нами, потому что ее бабушка вообразила себе, что перед рождеством Гелла оттого схватила ангину, что во время катания с гор в Аннингере у нее оторвалась подошва от башмака. Чем же мы тут виноваты? Надеюсь, впрочем, что она это забыла: ей ведь уже шестьдесят три года, в этом возрасте многое скоро забывается.

Вечером. Итак, Гелла сможет поехать. Это будет великолепно. Быть может, удастся попробовать немного

на лыжах покататься. А Гелла — такая заноза, — она говорит:

— Хорошо, я поеду с вами, если ты мне поклянешься, что ты не будешь беспрестанно бредить фрау профессоршей Т. Я ее тоже страшно люблю, но ты просто сумасшедшая.

Это прямо неслыханно, и я не буду больше произносить ее имени перед посторонними. Я страшно радуюсь катанью в Марицелле. Такой большой зимней прогулки мы еще не делали. Ух, как это будет хорошо! Господи, хоть бы уж было поскорее тридцать первое января; я безумно рада.

*
* * *

Не осуществились радостные надежды Риты на веселое катанье с гор в блеске зимнего наряда природы. Грубая рука судьбы коснулась ее и ее близких. Двадцать девятого января ее отца разбил паралич. Доставленный домой в больничной карете, он скончался, не приходя в сознание, через несколько часов на руках у дочерей, потрясенных неожиданным тяжким горем.

Оторванная от семейного очага, полного любви и уюта, разлученная с подругой, Рита очутилась в чуждой ей семье дальних родственников, в небольшом провинциальном городке, где ее измученная душа юной сиротки тщетно искала мира и тишины...

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	СТР.
Предисловие к русскому изданию	3
Предисловие к первому немецкому изданию	6
Предисловие к третьему немецкому изданию	8
Первый год (от 11 до 12 лет)	15
Второй „ (от 12 до 13 „)	79
Третий „ (от 13 до 14 „)	153
Последнее полугодие (от 14 до 14½ лет)	234

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

Ленинград, Троицкая 4, кв. 3. Телефон 1-84-61.

Вышли в свет новые книги:

И. П. МЮЛЕР, автор книг: «Моя система», «Моя система для женщин», «Моя система для детей» и др.

Пять минут в день.

Гимнастические упражнения для развития и сохранения физической силы и здоровья.

46 рис. в тексте и 4 таблицами на отдельных листах.
Предисловие Председателя Научного Бюро Московского Института Физической Культуры проф. В. В. Гориневского.
Перевод Нины Малкиной. Обложка А. Лео с репродукцией статуи „Давид“ Микель-Анджело. Цена 80 к.

Профессор ЦУР-ШТРАССЕН. Поведение человека и животных в новом освещении.

Предисловие Академика И. П. Павлова.
Перевод с немецкого д-ра Н. А. Подвоинаева.
Обложка С. В. Чехонина.
Цена 45 к.

Ю. П. ФРОЛОВ, Ассистент Академика И. П. Павлова по кафедре физиологии Военно-Медицинской Академии.

Физиологическая природа инстинкта.

Обложка А. Лео. Цена 1 р. 45 к.

ГЕНРИ ФОРД. Моя жизнь, мои достижения.

Предисловие проф. по каф. НОТ Н. С. Лаврова. Перевод под ред. инж.-техн. В. А. Зоргенфрея. Обложка М. Кирнарского.
3-е издание. Цена 1 р. 10 к.

**КАТАЛОГ ИЗДАТЕЛЬСТВА ВЫСЫЛАЕТСЯ
ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ.**